



А. И.  
ЭРТЕЛЬ



# Александр Иванович Эртель

## Две пары

В сборник писателя-демократа Александра Ивановича Эртеля вошли повести "Карьера Струкова", "Две пары", "Повесть о жадном мужике", "Волхонская барышня", которые отразили назревание народной революции.

Л.Н.Толстой писал: "Для того, кто любит народ, чтение Эртеля большое удовольствие".

# Содержание

I.....	.0004
II.....	.0023
III.....	.0043
IV.....	.0075
V.....	.0099
VI.....	.0122
VII.....	.0148
VIII.....	.0167
IX.....	.0190
X.....	.0213
Примечания.....	.0225

Май был в конце. Стояла прозрачная теплая ночь. Только что пропели первые петухи, и на краю деревни, около запасного магазина, стоявшего над рекой, медленно замирала протяжная песня. Небольшая толпа парней и девок собиралась расходиться. Много народу и ушло уже из толпы; ночь была так прозрачна, что можно было заметить, как вдоль широкой улицы там и сям белелись девичьи шушпаны; но они белелись неподвижно, и только подойдя совсем близко к какому-нибудь из неподвижных белых пятен, можно было разобрать, что просторная девичья одежда лежит на плечах парня, что пара стоит обнявшись и что под защитой шушпана ведутся оживленные, скрытые для других, речи. Те, что расходились одиночками, шли ко двору поспешно, иногда мимоходом окликавая пару: «Ты, что ль, Аксютка?» — «Я», — отвечал на это негромкий голос; но обыкновенно проходили молча и даже без любопытства.

Около одной пары, особенно долго стоявшей у развесистой дуплистой ракиты, плаксивым голоском ворчала девчонка-подросток: «Пойдем, Лизутка, она те, мамка-то, задаст!» — «Иди, иди, милушка, иди, отворяй пока... я сейчас», — взволнованным полупешепотом отвечала Лизутка. Девчонка с неохотой отходила, двора через два внушительно хлопала калитка, тонкий голосок снова сердито кричал: «Лизутка! Лизутка-а-а!» — а прозрачная майская ночь еще долго не выпускала из своих теплых объятий истомленную негой девку. С полей несло запахом вешних трав; перепела задорно перекликались в ближней ниве, откуда-то из «ночного» звонкими перебивками доносилось лошадиное ржание, и все было так тихо, так тепло, так ласково. Речонка, покойно лежавшая в глубоком овраге, отливала смутным, неопределенным блеском; звезды, отражаясь в ней, были так неподвижны и почти так же яркие, как в высоком небе. «Ну, чего еще? Пусти... Матушка того гляди проснетя», — шепотом говорила Лизутка, чуть ли не в десятый раз отодвигая того, кто стоял с нею под одним шушпаном. Тот мед-

ленно скинул с плеч шушпан и неловким движением обнял девуку.

— Лапушка ты моя! — выговорил он. — Поймай малость... авось ведь мы не как-нибудь... авось сватов зашлю.

Лизутка завернулась в шушпан и снова придвинулась к парню. Она была много ниже его, и ей приходилось поднимать голову, чтобы поглядеть ему в лицо. И майская ночь была так прозрачна, что он мог рассмотреть сбившиеся волосы на ее лбу, живой блеск глаз, полные губы, дрожащие от волнения, и он крепко стиснул ее в своих сильных руках и прильнул пересохшими губами к ее щеке. «Пусти... пусти!» — задыхаясь прошептала Лизутка и решительно вырвалась из его объятий. Несколько шагов она даже пробежала рысью. Он все стоял у ракиты. «Федя! Ты приходи в воскресенье-то... Придешь? — сказала она, внезапно останавливаясь. — Приходи, миленький!» — и шушпан ее быстро мелькнул вдали. Пронесся смутный шорох, стукнула калитка, и все стало тихо и пустынно.

Федор постоял немного и вдруг, как бы опомнившись, широкими шагами пошел

вдоль улицы. «Эх, зелье-девка, — пробормотал он на ходу, — вот уж зелье!» Ему было очень весело. Все в нем напрягалось от внутренней радости, и в мускулах — в руках, в ногах — он чувствовал, как прилиwała необыкновенная живость и сила. Он шел козырем, заломив шапку, высоко подняв голову; ему хотелось закричать во все горло, заиграть песню, и закричать или заиграть песню так звонко, чтобы сразу надсадилась грудь и чтобы перестало в ней так трепетно колотиться сердце. Но он был чужой в деревне и не осмелился потревожить сонной деревенской тишины. Тем временем потянулась узенькая тропинка под гору и совсем близко блеснула речка. Федор, крепко стуча каблуками подкованных сапог, сбежал под гору, миновал плотину, рысью же поднялся на гору и огляделся. Деревня спала мертвым сном, кругом темнели поля, за ними еще гуще темнел далекий лес; но на восходе солнца небеса покрывались едва заметным светом, и звезды, казалось, с каждым мгновением ослабляли свое сверкание. Федор вздохнул во всю грудь, сел на землю, разулся, перевязал сапоги веревоч-

кой и, закинув их за плечи, мерным, спорым шагом пошел по гладкой лоснящейся дороге к далеко темневшему лесу.

Звезды погасали, в пространстве разливался желтоватый полусвет, прохладный ветерок встал с восхода. На зелени пшеницы, на травах холмистой степи, на широких полосах выколосившейся сизой ржи тусклым серебром лежала роса. В глубине оврага затуманившаяся река слабо курилась, окаймленная неподвижными камышами. И Федор все это увидал. Прибавив шагу, он достиг леса, сел на канавке, свернул сигарку и закурил. Теперь в нем совершенно улеглось волнение, которого он не мог одолеть, расставшись с Лизуткой... Теперь на душе у него было ровно и спокойно.

И он безмятежно смотрел, как вокруг все просыпалось, приготавливаясь встретить солнце. Близ него быстро порхнула какая-то птичка и, коснувшись своими крыльями куста орешника, с тонким писком скрылась в глубине леса. Орешник так и брызнул мелкой росой; он как будто проснулся и сказал лесу: «Пора!» — и по сонному лесу там и сям про-



несся невнятный шорох. Другой птичий голо-сок неуверенно прозвенел в чаще. В небе за-рделось и встало солнце. И в ответ небу зару-мянилась степь, зарумянились поля, покрас-нела опушка леса, закурилась речка легким золотистым туманом. Синяя даль, видная в одну сторону от леса, дрогнула, как живая, в молодых и стремительных солнечных лучах. Из ее загадочной глубины сверкнули кресты каменной церкви, засияла круглая и ясная по-верхность озера.

Над степью, что прилегала к самому лесу, стлалась полупрозрачная дымка поднявшей-ся росы, и сквозь эту дымку странно обозна-чались цветы и высокие травы: все как будто в глазах росло и тянулось к солнцу, туман ка-зался дыханием просыпающейся земли, в неподвижных очертаниях растений чудилось что-то живое, что-то свободное от неподвиж-ности, воздух был трепетен и напоен жиз-нью... И роса, совлекаясь с травы, с полей, с леса и воды, уходила в светлое и свежее про-странство и растворялась в лучах медлитель-но поднимавшегося солнца. И точно зная, что пришел час еще более оживить трепет про-

буждения, из травы быстро выскочил жаворонок, шевельнул отсыревшими перьями и взвился к небу. За ним взлетел другой, третий... Серебристые голоса зазвенели в небе, и все стало радостно и переполнилось несказанным трепетом жизни.

И на душе у Федора все шире и шире росло чувство спокойной радости. Ему не хотелось подыматься с мокрой травы; он не спеша покуривал свою сигарку, поплевывал и смотрел по сторонам. В деревне задымились трубы, закрипели ворота, мычание коров слышалось протяжное и гулкое. Но кроме деревни, из которой вышел Федор, да большого села вдали не было видно других поселений; все кругом было просторно, пустынно и широко, и на этом просторе вольно расстилалась холмистая степь, отливала синеватым цветом густая и ровная пшеница, серела выколосившаяся рожь.

«Эх, земли-то воля какая! — подумал Федор. — Самара, так Самара она и есть!.. Вот нашим бы, нижегородским бы, сюда, — отдохнули бы». И от нижегородских вообще мысли его перешли к своей семье — к старикам, к

сестре, вдове с тремя сиротами, к тому, сколько он в последний раз выслал домой денег и какие там предстоят теперь расходы. «Хлеб с великого поста покупают, — раздумывал он. — Поди, на один хлеб рублей восемь в месяц уходит; а там овса купили на семена... попу...» Но эти мысли стали противоречить его радостному настроению, и он бросил окурок сигарки и поднялся, чтоб идти. Топот лошади привлек его внимание: из-за леса показалась породистая барская лошадь в легких беговых дрожках; на дрожках сидел плотный молодой человек в пальто. «Эге, да это, никак, Сергей Петрович, — подумал Федор и усмехнулся. — Гляди, к Летятиной барыне ездил».

— Федор, это ты? — закричал веселый, несколько удивленный голос.

— Мы, Сергей Петрович.

— Откуда это?

— Да вот из деревни, из Лутошек.

— Что ты там делал до белого утра?

— Да признаться, Сергей Петрович, пошел праздничным делом... ну, там хороводы, песни... парни все приятели... так вот и провалялся почитай до рассвета. Ну, тут вышел,

четыре верста не прошел, — глядь, солнышко встало.

— Ну, садись, садись, подвезу, — счастливо улыбаясь, сказал Сергей Петрович. — Хочешь курить? Кури, — и он открыл Федору массивный серебряный портсигар. Федор ловко вскочил позади барина на дрожки, переплел босые ноги внизу, вежливо взял целою щепотью папиросу из барского портсигара и не спеша закурил своею спичкой. По его свободным движениям и по спокойному виду, с которым он говорил с Сергеем Петровичем, можно было заметить, что он привык обращаться с господами и что помимо некоторой сдержанности он обращался с ними с тою же простотой, которая вообще была ему обычна. Между тем Сергей Петрович не сразу нашел, о чем говорить с Федором, и подумал, что надо говорить «о делах».

— Ну, что, Федор, к воскресенью окончите конюшню? — спросил он.

— Надо бы кончить, Сергей Петрович... как, поди, не кончить!

— И денники окончите? Ведь ты забыл, Федор, что надо четыре денника. Я непременно

хочу сделать денники, и непременно надо их сделать из толстых досок. Достанет у нас досок, а?

— Поди, достанет.

— И ты думаешь, Федор, вы и денники успеете сделать к воскресенью? Ты, Федор, не ошибись, — и Сергей Петрович серьезностью своего тона старался показать Федору, что это очень важно, чтоб он не ошибся.

— Как же не сделать, Сергей Петрович? Даст бог здоровья — все прикончим.

— Ведь с тобой кто теперь работает: Ермил, Леонтий, Лазарь?.. Вот, кажется, Лазарь прекрасный плотник, а?

— Он — ничего, парень аккуратный. Да у нас и все как будто... дело за нами, не стоит.

— Ну да, ну да, я и не хотел сказать... Я тобой, Федор, очень доволен. Но знаешь, Федор, Лазарь как-то особенно хороший плотник, знаешь как-то... — Сергей Петрович затруднился в слове и помотал рукою в воздухе.

— Это точно, — подтвердил Федор более из вежливости и из желания вывести Сергея Петровича из затруднительного положения, — малый он тямкой.

Сергей Петрович не удовлетворился этим выражением Федора, но продолжать разговор о Лазаре уже не решился; в сущности, он не знал, насколько хороший плотник Лазарь, но ему очень нравилось, как сильно и красиво Лазарь взмахивал топором и как широко водил пилою и отчетливо долбил, и вообще нравилась фигура Лазаря.

Сергей Петрович помолчал и вместе с тем подумал, что теперь надо сказать что-нибудь приятное о самом Федоре.

— Вот ты и молод, Федор, а какое тебе доверие, — сказал он.

— Это уж не по мне, Сергей Петрович, — по родителю: как родитель ходил от артели вроде как за подрядчика, так и я. Известно, надо себя в строгости содержать.

— Ну, вот ты теперь на хороводы-то ходишь, — артель ничего, а?

— Что ж артель! Дело праздничное. Кабы я от работы отлынивал, — ну, так. А я вот приду теперь, умоюсь да прямо, господи благоволит, за топор. Разговоры тут короткие.

Снова замолчали, и Сергей Петрович опять стал придумывать, что бы сказать Федору.

Ему очень приятно было, что он не один, но придумывание слов, которые, по его мнению, были бы интересны и понятны для Федора, было ему неприятно. Он мог очень много и очень долго говорить теперь, и ему хотелось говорить, но удерживала какая-то стыдливость и то, что эти его слова не могут быть интересны для Федора.

— Эх, раздолье у вас в Самаре, Сергей Петрович! — сказал Федор. — Такая-то воля, такой простор, что и-и-и господи ты мой боже... Что этой земли, что лесу...

— Не правда ли? — с оживлением воскликнул Сергей Петрович. — Я когда приехал сюда в первый раз, вот мне понравилось, Федор: и леса, и степь, и люди, — все понравилось. И я тогда же непременно-непременно решил купить здесь землю. Смотри, Федор, это ведь начинается моя земля: вон Медвежий колок, вон Гремячий сырт... а смотри какая белотурка! Ведь это, если хорошо нальет, двести рублей десятина! — И, увлеченный неожиданно привлекательным предметом разговора, Сергей Петрович всем лицом оборотился к Федору: — Ты знаешь Летятиных? Я от Летятиных

теперь. Они здесь на даче, и Летятин пьет кумыс — знаешь, питье такое делают башкиры? Я самого Летятин еще по Петербургу знаю, и вот теперь я уверяю их, что им необходимо, необходимо купить здесь имение. И вообрази, Летятин все-таки хочет уезжать в Петербург! Ну, посуди, Федор, что такое город? И Марья Павловна к тому же больной человек, но вот стал, уперся и ничего с ним не поделаешь. Марья Павловна прелестный человек... Ведь ты ее видел, Федор? Не правда ли, какая прелесть? И она очень любит рабочих людей... Она его очень убеждает... Нет! И немудрено: он совсем не понимает деревни. Представь, ему скучно здесь, а? Но как же, как же не понять, что такое деревня и что такое город!.. Вот Марья Павловна отлично понимает. Ты знаешь, Федор, я очень много видел женщин, но Марья Павловна положительно какая-то особенная. Другие навесят на себя тряпки, важничают и ужасно бывают глупы, но это даже удивительно, как умеет держаться Марья Павловна. Сегодня она, например, что говорит: «Я бы, говорит, зарылась в этой прелестной деревне». И действительно она



готова. Но вот муж, муж... ах, это такая сухая душа, такая... Хочешь, Федор, курить? Кури, кури, пожалуйста.

Федор опять с своею сдержанною вежливостью опустил щепоть в портсигар Сергея Петровича и, осторожно взяв папироску, сказал:

— Н-да, бывает и на господском положении...

Но, увлеченный течением своих мыслей, Сергей Петрович и не слышал слов Федора.

— Вот, например, есть такая игра, шахматы... это очень мудреная игра, но она поняла мгновенно. Или теперь разговаривать с ней: ты не поверишь, какая она умница и как все знает, — за всем следит, читает... Я раз говорю, что есть такой ученый, — это очень мудреный ученый, — я говорю, что вот это прелесть, и, представь, смотрю: она мгновенно выписывает из Петербурга и теперь читает. — И вдруг, сообразив, что Федор не может его понять, Сергей Петрович возвысил голос и еще больше заволновался. — И как на фортепиано играет! — воскликнул он. — Есть очень трудные вещи, но у ней все это прелесть, прелесть как выходит...

— И детки есть? — спросил Федор.

— Есть мальчик, — сразу спадая с голоса, ответил Сергей Петрович и ударил вожжами лошадь.

— А что я думаю, Сергей Петрович, — сказал Федор после краткого молчания, — вот жена ежели хорошая — первое дело!

— Да, Федор, это отличнейшее, превосходнейшее дело! — горячо согласился Сергей Петрович.

— Дети пойдут... В хозяйстве, к примеру, любовь да совет — одно слово!

— Н-да, дети...

— Я как теперь понимаю, — совсем весело сказал Федор, — я так понимаю женатого человека, чтоб около него гудело от этих самых ребят. Я, ежели каждый год баба будет рожать, я ей в ножки поклонюсь, лишь бы господь достатку дал.

— Н-да... — задумчиво сказал Сергей Петрович и прибавил: — Ну, это, Федор, пожалуй, и скверно, если часто: женщина ужасно стареет от этого. Вот ты видел Марью Павловну, ведь правда, какая она красивая, и она хотя очень молода, но все-таки ей тридцать лет; но

она гораздо моложе своих лет! И вот у ней один сын.

— Помирали? — с участием спросил Федор.

— Не то что помирали, но нынче вообще смотрят на это иначе... — И, не желая пояснить Федору, в чем заключаются современные взгляды на рождение детей, Сергей Петрович поспешил добавить: — Ты, конечно, прав, Федор, с своей точки зрения, — ты рассуждаешь с крестьянской, с хозяйственной стороны, и ты совершенно прав.

— Нам по крестьянству что ребят больше, то лучше, — согласился Федор и хотел добавить: «Это какая же и баба, ежели детей не родить», — но почему-то подумал, что Сергею Петровичу будут неприятны такие слова, и промолчал.

— Ну, а ты, Федор, облюбовал невесту, наметил? — спросил Сергей Петрович, оглядываясь на Федора и ласково ему улыбаясь. — Ведь признайся, наметил? В Лутошках хорошие есть девки.

— Девки в Лутошках ничего, — сказал Федор, в свою очередь улыбаясь, — есть которые дюже хороши.

— Ну, какая? Ну, признайся, Федор? Я ведь знаю, что ты влюблен, у тебя вон и лицо какое-то... Ну, пожалуйста.

Но Федор засмеялся и ничего не сказал. Сергей Петрович несколько опечалился сдержанностью Федора, — в себе самом он, к своей досаде, примечал все больше и больше желания высказываться. Но он поборол это и даже попытался изменить свое настроение и оборвать странную связь, которая, как он чувствовал, начинала образовываться между ним и Федором.

— Ты, пожалуйста, Федор, смотри, чтобы карниз не вышел косою. Вот вы у амбара сделали карниз, он косит к левому углу, — сказал он сухо.

— Не сумлевайтесь, Сергей Петрович, — в тон ему, но уже не сухо, а с преувеличенной почтительностью ответил Федор, — и ежели на амбаре не нравится, мы и на амбаре переделаем. Только, воля ваша, он прямой.

— Рассказывай — прямой! У меня ведь глаза-то, кажется, есть, — уже с раздражением возразил Сергей Петрович.

— Это как вам будет угодно; мы передела-

ем.

Они рысью подъехали к хутору. Федор соскочил с дрожек и, поблагодарив Сергея Петровича, побежал к людской избе.

— Где шатаешься-то, полуношник? — притворно-сердитым голосом сказала ему старая стряпуха. — Люди работают давно, а он шатается; вот дождешься: лутошкинские ребята бока отломают.

— Видали мы эдаких-то! — шутливо ответил Федор и, вдруг обняв стряпуху, круто повернулся с нею по избе. — Эх, тетушка Матрена, твои серые глаза режут сердце без ножа.

— Черт, — закричала Матрена, крепко ударив его уполовником, — право, черт! Через тебя вот щипы убегли!

Федор подошел к рукомоюнику, обмыл руки, плеснул горстью воды на лицо, степенно утерся ручником и, причесавшись медным гребнем, висевшим на пояске, несколько раз медлительно перекрестился на икону.

— Ты с барином, что ль, приехал? — спросила Матрена, не отходя от пылающей печки.

— Подвез. У Летятихи был. Тоже, должно быть, зазнобила молодца. По дороге-то врал,

врал... Я бы, глядишь, давно дома был без его вранья.

— Чего муж-то глядит? Обломал бы бока, небось бы блажь-то выскочила. Ишь ведь, ишь полуношничают!

— Говорит, детей не родит, — со смехом сказал Федор. — Может, сколько годов замужем, а всего и есть что один парнишка. С того, говорит, и хороша.

— На это их взять. Им только и делов, чтоб вертелось вокруг их...

Федор захватил инструмент и отправился к артели. Там, у кучи свежих сосновых бревен, давно уже стучали топоры, сверкая в лучах солнца.

Сергей Петрович отдал лошадь конюху и вошел в дом; ему теперь решительно было неприятно, что он так много говорил с Федором о Марье Павловне Летятиной, и еще более было неприятно, что разговор их закончился в фальшивом и принужденном тоне. Сердитый и сам на себя, и на Федора, он лег спать в комнате с завешанными гардинами и долго не мог заснуть, и тогда только заснул, когда ему удалось подавить в себе мысли о Федоре и разговоре с ним и вспомнить вместо этого о вчерашнем вечере. Вчера Марья Павловна была как-то особенно грустна и меланхолична; он спорил с мужем о деревенской и городской жизни, она сидела у фортепиано и все брала медленные аккорды; и по временам, в особенно горячих местах спора, он чувствовал на себе ее взгляд, глубокий и полный сочувствия, и вместе с тем полный жалости к тому, что у нее такой муж, которому она не может сочувствовать. После ужина все это изменилось: она была весела даже до шаловливости, спела вакхическую арию, подражая ма-

нере Бичуриной. Но это еще не важно, — важное случилось тогда, когда она, несколько уставши от своего веселья, стала играть Мендельсона. Он стоял за ее стулом и переворачивал ноты; было поздно, был тот час, когда Лютин имел привычку, не прощаясь, уходить к себе, и вот, переворачивая ноты, Сергей Петрович вдруг почувствовал неотвратимое желание наклониться к ее затылку: мелкие завитки волос так прелестно крутились, алебастровая белизна шеи так восхитительно выступала из белизны узкого стоячего воротничка, что он не мог, совершенно не мог не наклониться. Он искоса посмотрел вокруг, — ему еще и теперь немного совестно этого воровского взгляда, — в комнате никого не было. Тогда он, чувствуя, как бьется кровь у него в висках, как мучительно замирает сердце, наклонился и прикоснулся губами к ее волосам. Это не был поцелуй, это было нечто мимолетное, отравленное страхом ожидания того, что скажет и что сделает она. Она едва заметно вздрогнула и продолжала играть; и когда прошло добрых пять минут, — Сергею Петровичу показалось, что целая вечность



прошла, — она закинула голову и в упор посмотрела на Сергея Петровича долгим, влажным и притягивающим к себе взглядом. И Сергей Петрович прочитал в этих широко раскрытых блестящих глазах то, что сделало его мгновенно счастливым и мальчишески веселым. Он прочитал, что между ним и ею вдруг выросло что-то такое, что связало их души и заставило их сердца биться в один лад, их мысли — стремиться по одному течению. Вот что хотелось ему с чувством невыразимо-радостного торжества объявить всему миру и вот про что, хотя и совершенно в других словах, он рассказал Федору. И, умиротворенный сладостью своих воспоминаний, он сладко и крепко заснул под непрерывный стук топоров плотничьей артели.

Супруги Летятины жили в десяти верстах от хутора Сергея Петровича. Сам Летятин был здоровый, красивый человек, с пухлыми румяными щеками, с умеренным брюшком, с черною шелковистою бородкой и с особенно внушительностью и солидностью движений. В Петербурге он занимал какое-то выгодное место в одном значительном банке и те-

перь пользовался пятимесячным отпуском с сохранением содержания. Он пользовался деревенскою жизнью, как и всем, чем представлялось ему пользоваться в жизни, очень благоразумно и аккуратно. Вставал в семь часов, гулял, купался, катался верхом, следил за политикой по большой ежедневной газете, раз в неделю писал письма, тщательно разрезал получаемые журналы, и если статьи были «делового характера», как он выражался, то прочитывал их от первой строки до последней. По утрам, несмотря на деревенскую жизнь, он не упускал заниматься туалетом: он строго требовал, чтоб ему подавалась ледяная вода, возбуждал деятельность своей кожи палками из резины и мохнатыми жесткими полотенцами, обтирался с головы до ног одеколоном и выходил на прогулку в таком виде, что от него за пять шагов несло свежестью, здоровьем и чрезвычайно приятным запахом. Когда речь касалась его задушевнейших взглядов на жизнь, он имел привычку не без гордости утверждать, что он вынес из нигилизма шестидесятых годов все, что было хорошего и здорового в нигилизме; он любил ино-

гда щегольнуть цитатой из Писарева и сослаться на ту или иную сцену из романа *Что делать?* — впрочем, исключительно на те только сцены, где описывается внешний порядок жизни, комфорт, разумное отношение к страстям и к здоровью и «рациональные» взгляды на распределение труда между супругами. Вообще он любил все удобное, здоровое и комфортабельное, и если не особенно возмущался противоположным этому, то единственно руководясь «рациональной гигиеной» собственной своей души, единственно только потому, что берег свое спокойствие и равновесие; это на его языке носило наименование «трезвой философии».

Мария Павловна была странная женщина; в противоположность мужу, она никогда не сумела сохранить равновесия души. Вышла она за него по любви, между прочим, подогретой и передовыми его взглядами; ей казалось в то время высшим словом мудрости сложить свой житейский обиход разумно или рационально, как тогда говорили. «Нейтральная комната» в семье восхищала ее; в ней она видела выход из тех несчастий и неудобств бра-

ка, которыми переполнена была жизнь ее знакомых. Ее восхищала мысль брака, более похожего на товарищество, нежели на брак. Кроме того, прежде чем обвенчаться, они долго и, как казалось им, совершенно серьезно обсуждали всевозможные случайности будущих отношений и решили мирно и благоразумно разойтись, если будет в том нужда. Жених великодушно говорил, что, конечно, он никого не полюбит, но если полюбит она, он даст ей совершенную свободу. Невеста утверждала, что никогда, никогда не может полюбить другого, но если полюбит он, она просит его, она даже требует, чтоб он отдался этой любви, как совершенно независимый человек.

Так, довольные друг другом и гордые своею разумностью, они повенчались. И все вышло как по писаному; комфорт у них с самого первого дня был полнейший; муж ее не стеснял; семейная проза — кухня, детская, гардероб, — все шло отлично. Ребенка она воспитывала по самым новым книжкам; его кормили по часам, по часам мыли, будили и клали спать, каждый день по два раза взвешивали,

по термометру носили гулять, и ребенок вышел хотя и не совсем здоровый, но все-таки остался жив и в установленные годы поступил в частную гимназию.

И за всем тем чуть ли не с тех пор, как Коле сровнялось шесть лет и для него взяли англичанку, Марья Павловна к удивлению своему ощутила, что в ее жизни совершается что-то неладное. Это ее ужасно удивляло, потому что, разлагая по ниточкам всю свою жизнь, она видела в ней одно только разумное, целесообразное и рациональное. Тогда она вообразила, что ее тянет за границу, тянет посмотреть на ту «настоящую» жизнь, которая вырослась пышно и широко, которая и долгою и чрезвычайно любопытною историей дошла до эпохи удивительного прогресса и удивительных преуспеваний. И действительно, заграничная поездка как будто оживила ее. Она, как голодная, бросалась на все те дивы, о которых ей аккуратно оповещал «Бедекер»; и только проехав Германию, поживя в Швейцарии, побывав в Париже, — только подъезжая обратно к станции Вержболово, она спохватилась и с тоской почувствовала, что все это не

то, не то. Возвратившись на свою «рациональную» квартиру, на углу Сергиевской и Литейной, она испытала даже такой прилив отвращения *ко всему этому*, ко всей своей разумной жизни, к фасаду дома, в котором жила, к теплой лестнице, к удобной квартире, что ей стало страшно. И больше всего ей стало страшно, когда она встретила мужа и вдруг вгляделась в его черты, как в чуждые ей черты, и где-то в глубине души почувствовала, что между нею и мужем встало что-то новое, странное, прежде неизвестное ей, — встала какая-то преграда. Впрочем, зима прошла сносно, потому что Марья Павловна воображала, будто вокруг нее действительно все так прекрасно, любопытно и редко, как о том говорили люди. И только к весне щемящее чувство недовольства собой и своей жизнью вновь обострилось и не стало давать ей покоя. Все на нее стало действовать странно и раздражительно с этой весны; на все смотрела она сквозь призму вновь возникших в ней ощущений; теплый ветер с моря, теплый луч, забежавший к ней в комнату, теплые белые ночи, плеск Невы около их дачи, звонкий и

гаинственный весенний воздух, в котором отчетливо слышался голос запоздавшего лодочника, — все в ее воображении окрашивалось печалью и унынием. Она изо всех сил старалась сначала исцелить, а потом забыть, лишь бы забыть, эту не дающую ей покоя душевную боль. Когда начался сезон, она записалась в несколько филантропических обществ, усиленно стала посещать балы, театры, клубы, концерты, торговала на благотворительных базарах, играла в благотворительных спектаклях, ездила к бедным, пробовала увлекаться проповедями лорда Редстока и полковника Пашкова, принимала участие в спиритических сеансах, устроила у себя «журфиксы», где от времени до времени появлялись профессора, художники, писатели. И посреди всей этой внешней деятельности, всей этой суматохи впечатлений она ни на миг не забывала, что все это не то, что по ее пятам двигается что-то странное, страшное, беспощадное, что в ее душе, прежде такой целостной и здоровой, образовывается пустота. Муж с улыбкой трезвого философа смотрел на странности Марьи Павловны. По временам

он даже с видом прежней влюбленности глядел на нее, потому что непрестанная душевная тревога делала ее особенно красивою и привлекательною. Она похудела; взгляд ее принял небывалый прежде характер загадочности и глубины; не в меру развитая нервическая чуткость придавала удивительную прелесть ее движениям и выражению ее лица; даже самый ее голос изменился и приобрел какие-то трепетные ноты, звучащие несвойственною ей прежде страстностью и драматизмом. Но все-таки кончилось тем, что и муж начал беспокоиться; раза два с нею случился истерический припадок, один раз даже в театре, в бельэтаже, на представлении *Грозы* с актрисою Стрепетовой в роли Катерины. Этот последний раз истерика привела даже в негодование Летятина. Он прочел нотацию Марье Павловне, сказал ей, что она не имеет права пренебрегать своим здоровьем, то есть проводить бессонные ночи, не вовремя обедать и т. д., позвал докторов, в числе которых был за сто рублей и очень знаменитый доктор, и тотчас же взял пятимесячный отпуск, как только доктора решили, что Марье Пав-



ловне нужно пить кумыс и что встретить раннюю весну ей необходимо в деревне.

Сергея Петровича Летятин знал по Петербургу, где встречался с ним у его дяди, одного из директоров значительного банка. Они даже раза два поговорили довольно подробно и оба остались довольны друг другом, потому что в обоих было сильно развито чувство внешней порядочности. Но бывать у Летятиных в Петербурге Сергею Петровичу как-то не удалось. Он скоро уехал в Самарскую губернию, где купил довольно большое имение и затем ездил по зимам «освежаться», как говорил, уже не в Петербург, а в Москву. Ему Летятин и написал, когда пришлось ехать в Самару; Сергей Петрович приискал дачу, нанял башкира делать кумыс, встретил Летятиных на станции, отвез их на своих лошадах до места и с тех пор стал бывать в Лоскове (усадебка, в которой они поселились) едва не каждый день.

Теперь, после разговора с Федором, Сергей Петрович целых три дня не ездил в Лосково. Не то, чтоб его заботил важный характер вновь возникших отношений с Марьей Пав-

ловной, не то, чтоб вводило его в раздумье будущее, но сладость воспоминаний о *том вечере* была так еще сильна в нем, что он, переживая ее, наполнял все свое время. Все эти три дня он по внешности был очень рассеян, пропускал мимо ушей доклады приказчика, осматривая поля, пропускал мимо глаз посевы пшеницы-белотурки, которою прежде очень гордился, безучастно относился к росту травы, равнодушно смотрел на работу плотничьей артели, испытывая, однако же, какую-то неловкость всякий раз, когда ему приходилось говорить с Федором, и будучи таким рассеянным по внешности, он тем более сосредоточивал свое внимание на той внутренней работе воображения, которой без устали предавался.

На четвертый день он почувствовал, однако, что ему необходимо ехать в Лосково. Он почувствовал это из того, как воспоминание о том вечере потускнело в нем, и из того еще, как оживились в нем ожидания новых, еще более значительных и счастливых впечатлений; и в глубине своих мыслей радовался, сначала стыдясь этой радости, что долгим

своим отсутствием без сомнения заставил недоумевать Марью Павловну, заставил ее жить тревожным ожиданием того нового, того продолжения новых отношений, которые теперь образовались между ними. Въезжая в Лосково, он даже до такой степени отдался во власть этой жажде потомить, помучить Марью Павловну, что скрыл свою необыкновенную радость свидания с нею за внешним видом небрежного равнодушия. Если бы его спросили в это время, для чего он это делает, он не смог бы ответить и, во всяком случае, с негодованием встретил бы упрек в неискренности. Дело в том, что именно это отсутствие простоты, эта сложная игра, эта смесь томительных ощущений доставляли ему удивительное наслаждение.

Он застал Летятиных за обедом. Марья Павловна только что услышала шаги его, как выбежала в переднюю и с живостью протянула ему обе руки. Летятин тоже поднялся и, вытирая губы салфеткой, пошел навстречу Сергею Петровичу. Но Сергей Петрович очень холодно повидался с Марией Павловной и, проронив сквозь зубы, что был все это время

очень занят, с преувеличенной любезностью заговорил с Летятиным. И так говорил все время обеда. Странно волнуясь, он рассказывал Летятину, какая у него великолепная белотурка, какой прелестный покос, как хорошо и добросовестно работают плотники. Летятин подшучивал над его хозяйственными увлечениями, пугал его утратою образа человеческого и, в свою очередь, поведал, что списался с хозяином своей петербургской квартиры и что к зиме тот согласился провести к ним телефон.

— Вот, Маня, будем оперу у себя в квартире слушать, — сказал он, обращаясь к жене.

— Что-о? — переспросила она очевидно ничего не слышав из его слов.

— Оперу будем слушать по телефону, — повторил он.

— Ах, отстаньте вы, пожалуйста, со своей оперой, со своими телефонами!.. Оставьте меня в покое, слышите ли? — вдруг закричала она с необыкновенною грубостью и быстро поднялась с места. — Противно мне, противно мне это... Я вам сколько раз говорила, что мне не нужны все ваши телефоны! — И со

слезами на глазах, заглушая рыдания, она выбежала из комнаты.

Сергею Петровичу стоило больших усилий остаться на месте; сердце его разрывалось. Он очень хорошо понял причину этой выходки и ужасно винил себя. Летятин сконфузился, извинился, сказал: «Ах, комиссия с этими нервными людьми!» — и немного погодя налил стакан воды и вышел вслед за женою. Тогда Сергей Петрович вскочил со стула, схватил себя за волосы и стал бегать по комнате. «Подлец, подлец я, — чуть не вслух бормотал он, — можно же вообразить такую мерзость!.. Эту прелесть, этого ангела и так оскорбить, так унижить! На что мне это нужно было... о, на что, на что же это нужно?» Женщина, вошедшая прибирать со стола, заставила его, однако, поневоле принять вид равнодушия. Летятин возвратился несколько озабоченный:

— Беда, беда с этими неуравновешенными натурами, — сказал он, разводя руками, и спросил теплой воды полоскать рот.

Воды не оказалось.

— Вот дикий народ, — сказал он Сергею Петровичу, кивнув в сторону прислуги, кото-

рую послал за водой, — сто раз повторяю, чтобы в конце обеда подавалась теплая вода, — не могут, не понимают!

Женщина подала ему воду в обыкновенном стакане.

— Неужели вы не помните, что я вам говорил уже неоднократно? — с укоризною сказал он ей. — Я вас просил, чтобы вы подавали воду в синих чашках. Неужели это трудно? Я вас покорно прошу быть внимательнее к моим просьбам, — и добавил, обращаясь к Сергею Петровичу — А вы еще утверждаете, что их легко цивилизовать!

— Я пойду в сад, — дрогнувшим голосом сказал Сергей Петрович, схватывая фуражку. — Я посмотрю, как у вас там...

— Прекрасно, прекрасно; я не обращаю внимания на окраины сада, но цветники пока в образцовом порядке. Ну, вы идите, а у меня сегодня день писем, и я пойду к себе. Вы у нас побудете?

— О, да. Я только пойду в сад, посмотрю, как там у вас...

Сергей Петрович едва не бегом направился в отдаленную часть сада. Летятины снимали

отдельный дом в усадьбе большого богача, неизвестно зачем приобретшего имение в Самарской губернии, неизвестно зачем выстроившего флигеля фигурной архитектуры, теплицы, оранжереи, вырывшего пруды, построившего гrotы и беседки, — потому неизвестно зачем, что сам богач в имении не жил, и все было предоставлено в жертву стихиям, неуклонно делавшим свое обычное дело. Из этих неуклонных дел вот какое было хорошо: сад по местам разросся и давал тень там, где прежде ножницы садовника преследовали одну только симметрию. В жаркие летние дни, когда все тускнеет и томится, одолеваемое раскаленными солнечными лучами, в саду можно было найти прохладу. Там были липы, непроницаемые для солнца; там были старые ветлы, там росли густые клены и березы, ослепительно сверкающие своею веселою белизной; там было место, где слышался непрерывный рокот ключа.

Но Сергею Петровичу теперь не было дела до всего этого; он только и думал, как бы повидать Марью Павловну, как бы оправдаться перед нею. Он так был черен и подл в своих

глазах, что у него не хватало более сил переносить гнет этой черноты и этой подлости. О, что бы он сделал, чтоб ничего не случилось такого! Он умер бы... Да что умер! — он пошел бы на муки, лишь бы не вставало в его воображении это гневное лицо с крупными слезами на глазах, эти горько вздрагивающие губы. Вот теперь уже он видел, как любит Марию Павловну. Ему теперь казалась эта любовь безмерною, отчаянною, глубокою любовью, которой нет и не может быть примера. Никто не мог любить с такою силой, как он. И как было все ничтожно, мелко, неинтересно, кроме этой его любви к Марье Павловне.

И в пылу таких помыслов о своей любви и своей виновности Сергей Петрович в десяти шагах от себя увидел светлое платье Марьи Павловны. Она шла по заросшей дорожке, потупив голову, неровными и торопливыми шагами; она, казалось, ничего не замечала вокруг себя, была погружена в задумчивость. Сергей Петрович быстро скрылся; вид Марьи Павловны с новою силой оживил его терзания, и, убежав в самую глушь сада, на поляну, окаймленную молодою порослью, он снова



схватил себя за голову и снова с ожесточением закричал на себя: «О, какой я подлец! О, какой я негодяй!» Кругом все было тихо; за рекою, в лесу уныло куковала кукушка; солнце склонялось к западу, и жемчужные тучки стадами собирались на его пути. Отовсюду дышало такую кротостью, такую ласковою теплотой, такая ясность разлита была в воздухе, так неподвижно и отчетливо выделялась даль за рекою с ее густо-зеленым лесом, с ее белою колокольней и серебристым озером, что наконец и Сергей Петрович почувствовал себя умиротворенным. Он ходил долго, сначала бегал, потом шагал все тише и тише, потом сел на обрубок дерева и, с наслаждением потянув в себя горьковатый запах березы, вздохнул глубоко. Потом оглянулся вокруг, посмотрел, как развернулась необозримая даль, прислушался, как за рекою куковала кукушка, и картина окрестности, горьковатый запах березы, солнце, смягчаемое тучками, странно и трогательно умилили его. Ему стало жалко себя; склонив голову на руки, вздрагивая коленками, усиливаясь сжимать губы, чтобы не слышно было рыданий, он заплакал как ребен-

HOK.

Нежное прикосновение руки к его голове заставило его очнуться. Он догадался, чье это было прикосновение, он даже не удивился ему — могло ли быть иначе? — и, вздрогнув от счастья, он еще ниже наклонил голову. О как ему было хорошо! Все его существо утонуло в мягких и теплых волнах, нахлынувших на него вместе с этим прикосновением нежной руки.

— Зачем вы плачете? — тихо спросила Марья Павловна. — Зачем, зачем?.. — повторила она тише, как будто с болью выговаривая слова, и вдруг вокруг него обвились ее дрожащие, холодные от нервного озноба, руки.

— Радость моя! — воскликнул он сквозь слезы. — Так ты меня любишь... так ты меня простила?

Марья Павловна спрятала лицо у него на груди и все крепче, все порывистей его обнимала; он видел, как трепетала она, точно подстреленная птица, как вздрагивали ее плечи и беспомощно опускались колени, касаясь земли, и слышал одно и то же, жалобно, с бо-

лью, с несказанного тоской произносимое слово: «Зачем, зачем?»

И ему показалось, что слишком низки и слишком пошлы те объяснения, которые он мог бы представить ей в оправдание своей деланной холодности. Он искренне подумал, что не таковы должны быть причины такой внезапной для него непомерно счастливой развязки.

— Если бы ты знала, как я мучился! — с волнением шептал он. — Я мучился все эти дни, все ночи... Что это было тогда? Может, это была вспышка, порыв, который ты сама бы с радостью взяла назад.

— Вспышка!.. Порыв!.. — с упреком перебила его Марья Павловна, на мгновение оборачивая к нему свое лицо с заплаканными глазами.

— Прости, прости, — я думал так. Я сказал себе: ну, что ж, пусть я помучаюсь... путь я один; но если она захочет этого, ни одним взглядом, ни одним словом я не напомню *того* вечера. Я подумал так...

— О, не говори, не говори... Зачем ты не ехал?.. Какая тоска, какой ужас!.. Я точно все,

все потеряла. Я ночи не спала... Куда мне деваться! Сердце, ведь сердце во мне разрывалось. Три дня... три дня!.. — и Марья Павловна опять зарыдала. — Я не могла к тебе послать. Я разве знала, почему ты не едешь? Я разве думала, что ты такой... такой... Я думала, ты посмеялся надо мной и... мне было очень очень больно...

— И ты это могла думать! — с жаром воскликнул Сергей Петрович. — Если б ты знала, если б ты могла знать, как я тебя люблю!.. Ты — моя жизнь, ты — единственная моя радость... О, моя дорогая, дорогая!.. Но теперь ты уже не будешь думать обо мне так, не будешь?.. Да?.. Да?..

Он осторожно оборачивал ее лицо и, все ближе наклоняясь к ней, заглядывал ей в глаза долгим, молящим, вкрадчивым взглядом. И обаяние этого взгляда точно заморозило Марию Павловну. Если бы и хотела она, не было в ней сил бороться против него. Радостная, покорная, счастливая, она встретила полуоткрытыми губами поцелуй Сергея Петровича и страстно прильнула к нему, испытывая всем существом своим огромное наслаждение.

ждение быть рабою *этого* человека быть во власти этой чужой околдовывающей воли.

Летятин написал в это время свои письма, взял гири со стола и полчаса делал гимнастику. Сначала он мерно махал гирями слева направо и справа налево, потом снизу вверх и сверху вниз; затем уперся руками в бедра и начал приседать и подскакивать; после того стал наклоняться одним боком и другим боком, туда и сюда выгибал спину. Проделав все это, он пригладил волосы и погрузился в размышления: сообразил расход текущего месяца, сообразил остаток в своей кассе, отметил в записной книжке новую выдачу денег кумыснику и на минуту подумал при этом, что кумыс недостаточно помог Марье Павловне. «Надо будет пригласить доктора, — подумал он, — хорош ли еще кумыс? Есть ли в нем все нужные элементы? Здоровы ли лошади? Там нет должного процента азотистых веществ каких-нибудь, черт бы их побрал, а тут — сцены! Пожалуй, при таком неудовлетворительном лечении и к осени не поправится Маня». И он с кислою усмешкой вспомнил совет Сергея Петровича поселиться в деревне! «Вообра-

жаю, как это весело возиться с дикарями! — воскликнул он про себя. — Совершенно слов человеческих не понимают: ему говоришь одно, а он понимает другое. И эти пшеницы, покосы, бороны, грабли, плуги... брр... какая скучная капитель!» И в противоположность деревенской канители он с отрадою подумал о петербургской своей жизни, о петербургских своих знакомых, все людях приличных, благоразумных и строго-деловых, о распределении своего дня, нормально и последовательно размежеванного на труд, гигиену и удовольствия, и с особенно хорошим чувством он подумал о своем мальчике, в котором ему удалось развить аккуратность и влечение к техническим и естественным наукам. «Будет инженер или естествовед большого калибра, — сказал он сам себе, с приятностью улыбаясь. — И как это хорошо сложилось, что брат Мани специалист по ботанике; он его теперь натаскает в своем Парголове».

С этою последнею мыслью он спросил, где барыня, и, узнав, что она пошла гулять, вышел в сад. «Маня!» — закричал он и, не получив ответа, медленно пошел вдоль цветоч-

ных клумб, рассматривая цветы и пробуя палочкой почву под ними. Все было в порядке, почва была влажная, вовремя политая. Обойдя клумбы, он остановился и обвел глазами свой сад. В ясном воздухе красиво обозначались неподвижные деревья, красиво пестрели цветами клумбы, красиво сияли зеркальные шары посреди клумб; желтый песок извилистых дорожек отливал матовым золотом. И все было так близко к глазам Летятина, так блистало свежими красками и отчетливо выделялось своими очертаниями, точно сейчас выросло, дало листву и расцвело, не успев запылиться. Запах резеды и левкоев разносился повсюду. Летятин выпрямился и с чувством веселой бодрости во всем теле пошел далее. Все, что он видел, — все было здоровое, свежее, красивое и молодое, и он чувствовал, что в ответ на это весело откликается все его существо, и ему было очень хорошо. «Отчего это люди нервничают, мучатся, мечтают о чем-то, когда все так просто и ясно, — думал он, — измышляют разные мечты и страдают из-за них?.. Удивительно! Не могут жить как следует, а непременно мечтают черт знает о чем. И



непременно ведь все перепортят». И, дойдя до аллеи, ведущей в запущенную часть сада, он с пренебрежением взглянул вперед: «Маня, конечно, где-нибудь в глуши, — пришло ему в голову. — Есть ведь расчищенные дорожки, чего бы, кажется? Все хорошо, красиво, удобно, — нет, нужно для чего-то забираться в глушь, промочить ноги, изодрать платье, и все это для каких-то фантазий... Поэзия! Нет, не поэзией называть бы эту чепуху, а психопатней».

— Маня! — закричал он, увидав в глубине аллеи жену, — что тебе за охота гулять там, когда тут, посмотри, как хорошо? Посмотри, какая прелесть эти клумбы! Во всем саду только и есть одно место, на что-нибудь годное.

Марья Павловна медленно подошла к мужу.

— Где же Сергей Петрович? — спросил он.

— Кажется, уехал. Он хотел съездить в деревню поговорить относительно косьбы и вечером пить к нам чай.

— Хозяйство, агрономия! — насмешливо сказал Летятин. — Не замечаешь ты, что он

уже изменился к худшему? В Петербурге он был воплощенная благовоспитанность, а тут эти резкие манеры, эта дурная привычка возвышать голос... Удивительно портит порядочных людей наше российское захолустье!

— Ты забыл, что я в Петербурге не знала Сергея Петровича, — сказала Марья Павловна, опуская глаза.

— Очень портит, очень портит, — с убеждением повторил Летятин и, предложив жене руку, повел ее вдоль излюбленных своих клумб. Она молчала. Она испытывала то неприятное чувство, когда видишь во сне ликующий весенний день и просыпаешься в сырое, пасмурное осеннее утро. Освободившись под каким-то предлогом, она побежала в дом и, бросившись на постель, зарыла лицо в подушки. Счастье любви беспокойно волновало ее, отравленное горечью лжи и будничною глубоко противною ей действительностью.

В столовой уже зажгли лампу, когда она вышла из своей комнаты. С балкона, освещенного отражением лампы, слышался громкий разговор. Марья Павловна прошла туда и поместилась в темном уголке, глубоко усев-

шись в качалку.

— Я не утверждаю, что всем нужно бежать из деревни, — внушительно разделяя слова, говорил Летятин, — но не надо забывать, что есть люди и люди. Деревня по самым своим свойствам требует грубых рук и грубых умов, Сергей Петрович. Вот посевы у вас — разная там пшеница, рожь, молотьба... Согласитесь, что это вещь далеко не мудреная. Дальше-с, земство, вы говорите. Что такое земство? Земство есть то же хозяйство: вместо пшеницы — раскладка, вместо ржи — школы, медицина, разные там дороги и прочее. Вещь необходимая! Но согласитесь, почтеннейший, очень не мудреная вещь. И пусть там делают. Но люди нашего склада, — это совсем особое дело. Наши идеалы — я подразумеваю естественно-научные идеалы — требуют особых людей. Ими двигается цивилизация, культу-ра-а-с!

— Но я не понимаю, почему нельзя двигать ее и в деревне, — возразил Сергей Петрович.

— Вот почему. Какая задача развитого человека? Сложить свою жизнь так, чтобы она

сходствовала с идеалом?

— Дальше, дальше.

— Для этого мне нужно стоять, так сказать, у горнила. Мне нужны, во-первых, средства. Во-вторых, мне нужны люди, с которыми я мог бы обмениваться мыслями. В-третьих, и это самое главное, мне необходимо, чтобы все было под рукой. Представьте себе, существует на свете наука гигиена и говорит она вот такое-то последнее слово. Прекрасно, я отправляюсь к Сан-Галли, отправляюсь к патентованному печнику, архитектору, гидропату и воплощаю это последнее слово гигиены. Дальше. Из Европы пришла самая свежая новость по части комфорта или вообще приспособлений для удобства человеческой жизни, — отлично, я опять иду и опять провожу в жизнь это новое удобство. Наконец я устал, желаю отдыха, — иду в оперетку, в театр, в концерт, в клуб, гуляю по Невскому и люблю электричеством, захожу на лекцию популярного профессора и знакомлюсь с последними выводами науки. Одним словом, во время отдыха обогащаю свой ум и приобретаю множество знаний.

— Помилуйте, ведь этак задохнуться можно! — закричал Сергей Петрович, с трудом скрывая свое презрение к тому, что говорил Летягин. — Ведь это усовершенствованная зоология, это я не знаю что!

— Усовершенствованная зоология, — с ударением подтвердил Летягин, — именно так... Как вы отстали в своей деревне. Что такое человек — особое существо, царь природы, божественный посланец?

— Ну, разумеется, животное, я и не спорю, но ведь животное общественное.

— Прекрасно-с. В чем же задача этого животного? Задача, надеюсь, состоит в том, чтоб оно было здорово, чтоб оно способно было продолжать здоровый род; это — во-первых. Во-вторых — оно, как наделенное интеллигентными способностями, должно быть счастливо, то есть окружать себя различными удобствами, вырабатывать между собою благоразумные отношения. Одним словом, брать от жизни все те наслаждения, которые совпадают с здоровьем и с благоразумием, и стремиться день ото дня расширять сферу этих наслаждений. Позвольте вас спросить, можно

ли в деревне достигнуть этого? Если я очень богат, я, разумеется, и в деревне окружу себя полнейшим комфортом, но это будет внешность, — ее мало; кто мне в деревне заменит общество, театр, лабораторию, в которой мне покажут последние выводы науки, — все то, что дает интеллигентную подкладку внешним удобствам жизни?

— Боже мой, да ступайте вы на всю зиму в Москву, в Петербург, куда хотите наконец. Езжу ведь я в Москву!

— Отлично-с; но для этого опять-таки нужно быть или одинокому, как вы, или иметь большое состояние. Во-вторых, где же общество? Ну, вы приедете в Москву, сходите в театр, в Политехнический музей, послушаете музыку, но где же люди одинакового с вами склада? Их нет.

— Да на что мне эти люди, когда вокруг есть другие — есть земцы, помещики, крестьяне наконец? У меня, например, есть плотник Федор, да помилуйте, я его на самого культурного человека не променяю! Мы понимаем с ним друг друга с одного намека. И какой ум, какая сообразительность!

Летятин снисходительно улыбнулся.

— И это — общество, — сказал он, — но согласитесь, весьма далекое от естественно-научных идеалов и вообще от задач трезвого идеализма.

— Почему далекое?

— Я не имею чести быть знакомым с вашим плотником, но, например, этот ваш знакомый земец Меньшуткин; при одном взгляде на его манжетки тошнит; а манеры... Вы, однако, говорите, что это один из благовоспитаннейших.

— Значит, вы судите по наружности? Что же общего у трезвого реализма с грязным бельем?

— С грязным ничего, но с чистым — очень много. Как я могу являться в дом в грязном белье, если я знаю, что грязь противна и вредна людям? Вот видите, до чего даже и небольшие культурные особенности сообразованы с циклом здоровых и трезвых идей. Весь смысл цивилизации в том и заключен, чтобы прогрессивные идеи связывать с действительностью. И потому-то людям, доразвившимся до этой истины, необходимо держаться вместе,

они могут совершенствоваться, подхватывать, так сказать, на лету передовые мысли и вырабатывать все лучшие и лучшие способы жизни. Понятие ведь можно уподобить кредитным билетам. Отчего сторублевые бумажки так чисты и свежи, а рублевые истасканы до невозможности? Оттого, что первые вращаются в руках людей культурных, вторые же попадают в обращение народу дикому. Прогресс, цивилизация, культура — точно государственный банк: они выдают ценности каждому по его интеллектуальным средствам, и нам, получившим сторублевые, не подобает отпускать их в грязные и грубые руки. Чем же достигнуть этого? А не иначе, как живя среди людей моего образа жизни.

— Какой возмутительный эгоизм вы проповедуете! Я положительно отказываюсь от такой отсталости. В деревне я чувствую себя свободным, в вашем Петербурге я постоянно связан. Там я должен служить, нести на себе эти проклятые вериги культурного общежития. Одни визиты чего стоят, черт бы их побрал! Между тем как здесь я полный хозяин. Там природа спрятана, здесь она вся налицо:



купайся в ней! Вот вы сидите за своими цифрами, трудитесь... Кто же пользуется вашими трудами? А я вот посеял сто десятин белотурки, похлопотал, потрудился, и уж наверное знаю, что если уберу, так получу и положу в карман восемь тысяч целковых чистого...

— Кроме того, — дрогнувшим голосом произнесла Марья Павловна, обращаясь к мужу, — ты забываешь пользу, которую можно принести в деревне... И государство, и твое милое общество, — ведь корни всего этого здесь же, в деревне, и как же это можно все брать, брать? Разные там налоги и эти концессии, и вдруг на деревню смотреть с таким ужасным презрением. Она — несчастная, невежественная, — все об этом говорят! — и жить в счастье и все это знать... я уж и не знаю, какой это эгоизм.

— Но ведь это возмутительно — сводить дело цивилизации на личное самоуслажнение! — с жаром подхватил Сергей Петрович, вскакивая с места. — А государство, а общественная польза, а чувство гражданина? Да неужели, неужели мне закрыть глаза на все и уйти в свою культурную скорлупу?.. Значит,

пусть кто хочет руководит народом, пусть кто хочет хозяйничает в земле, пусть первобытная культура истощает землю, мужик пьянствует, самоуправничает, делает разные невежественные поступки, — это не мое, все не мое дело!.. Мы, цивилизованные люди, должны проводить идеи и вообще прогресс! — с пафосом продолжал он, чувствуя себя предметом страстного внимания Марьи Павловны. — Мы — апостолы нашего божества, — и мы должны идти в земство, в администрацию, в захолустье... Мы должны достигать власти... и, не обращая внимания на грубость материала, лепить из него здание цивилизации... Кирпич! Что такое кирпич да глина, самая обыкновенная и простая глина? Но приходит архитектор и создает Парфенон-с!

— Вы благоволили сказать: администрация. Но администрация, наиболее влиятельная, опять-таки в Петербурге и вообще в городах, — все более уязвляясь, возразил Летятин.

— Давно признано, что все наши задачи — в деревне, и об этом смешно говорить. Неужели вы пропустили труды статистики? Кажется, ясно, в чем дело! Сколько вышло реформ

из вашего Петербурга, а как дойдет ваша реформа до провинции, так и превратится в чепуху; вы сочиняете, а провинция переделывает. А отчего? Все оттого, что деревня точно чугунное ядро на ваших петербургских теориях: вы норовите за тридевять земель ускакать, а глядишь, ядро-то и оттянет вас к прежнему месту. Стой, голубушка, не горячись!

— Ах, как это верно! — воскликнула Марья Павловна.

— В чем же дело? — в азарте продолжал Сергей Петрович. — А в том, чтоб ядра-то не было. Вот в этом-то и будет состоять наша заслуга. Мы, люди прогресса, составим правящий класс в деревне; деревня, не беспокойтесь, будет знать, что мы — вот они, свои люди, и тогда, если вы обдумаете что-нибудь хорошее, милости просим!

— А если, как это про журавля говорится, нос вылезет, хвост увязнет? Вы умниками станете, а мы к тому времени поглупеем, вы — бойкие, а мы и говорить разучимся.

— Во всяком случае, не заплачем, если и увязнете или поглупеете, выражаясь вашими словами.

— Но не мудроно, что вместо того нам придется крест на вас поставить.

— Может быть.

— Крест — эмблема христианская, а Христос, как известно, любил нищих.

— Нищих духом, вы хотите сказать? Да и терпеть не мог фарисеев.

— Значит, вы думаете, что мы, добросовестно и трезво устрояющие свою жизнь, — фарисеи? — изменившимся голосом спросил Летятин.

— Бывает и так.

— Очень благодарен за комплимент.

— Не стоит: для него не требуется особенных усилий ума.

— О, в этом-то я уверен! В противном случае я бы, вероятно, и не имел удовольствия дождаться от вас комплимента.

— Вы называете меня дураком? — внезапно охрипшим голосом спросил Сергей Петрович.

— Я не утратил еще привычки выражаться порядочно.

— Полноте, что это такое! — вскрикнула Марья Павловна. — Как вам не стыдно, госпо-

да?

— Почин был не мой, — сухо сказал Летятин.

— Оставь, оставь, пожалуйста... Сергей Петрович, оставьте. Невозможно так... И во все, вовсе не в этом дело. — Она схватила руку Сергея Петровича и крепко стиснула ее в своей.

— Я готов извиниться, — с неохотой вымолвил Сергей Петрович.

Летятин церемонно поклонился.

— Невозможно, ужасно так жить, вот в чем дело! — с усилием сказала Марья Павловна странно зазвеневшим голосом. — Я не знаю, как там по теории, и я не знаю вообще что делать, но жить так ужасно тяжело... Ты говоришь: счастье, трезвые отношения, прогресс. Вы говорите: полным хозяином жить и участвовать в земстве и во всем хорошем для деревни — и все это для того же прогресса и счастья. Я не знаю этого, но я думаю, нужно думать не о себе... Дурно ли это будет, хорошо ли, нужно ли это для прогресса или вовсе и не нужно, — надо помогать людям. Вот что я думаю. Я прямо тебе должна сказать... — Она

прижала платок к губам. — Я не буду, не могу жить в городе... И как же жить, когда там ложь, ложь... и когда правда только тут, только в этой помощи несчастным людям?

— Но где ты видела несчастных людей? И потом, ты забываешь, что на нас лежит обязанность воспитать Колю.

— И вот об этом я думала. К чему мы его готовим? Без почвы, без родины растет мальчик, и что у него впереди — бог один ведает.

— То есть как без родины? Надеюсь, он знает, что его родина — Россия.

— Ах, не об этом я... Что Россия — империя, лежит между такими-то градусами, граничит с тем-то, — о, он, наверное, знает это! Но солнца он мало видит, нет кустика, к которому он мог бы привязаться. Ведь какое это счастье, когда человек рождается и растет среди природы, которая родная ему, среди людей простых, трудящихся людей, и с детства их знает, привык к ним. Свои липы, свои березы, сверстники в деревне, — какое это счастье для человека!

— Я думаю, для Коли большое счастье, что он под руководством твоего брата может

здорово относиться к этим березам и дубам, получить правильное научное понятие о природе.

— Ах, какая это суровость к ребенку! Может ли у него быть живая связь с природой, с местом, с людьми, с одною только черствою вашею наукою?

— Конечно, никакой не может быть связи! — запальчиво воскликнул Сергей Петрович. — Засушить листики в гербарии, еще не значит полюбить природу; узнать, что человек в лаптях и в зипуне называется мужиком, еще не значит иметь с ним живую связь: листья и мужики есть в любой стране, — чем родные мужики и родные листья ему ближе тех? Научность космополитична.

— Нас учили, что понятие о варварах и об исключительной национальности — понятие людей отсталых, — насмешливо возразил Летягин. — Вы, значит, полагаете, что Россия суть антик, а весь остальной мир — варвары? Честь имею поздравить вас! — И, не желая выслушивать ответа Сергея Петровича, Летягин обратился к жене: — Есть, Маня, какое-то недоразумение между нами. Ты странно ста-

вишь вопрос. Ты говоришь, не хочешь жить в городе и мотивируешь это какими-то принципами. Я ничего не мог бы возразить, если бы ты указывала на требования своего здоровья, хотя зима во всяком случае одинакова в Петербурге и в деревне. Но... принципы! Мы до сих пор были согласны в них. И мы добросовестно проводили их в своей жизни... Твои новые принципы я не могу разделять, — нет у меня на это ни средств, ни желания. Должна же ты дать мне свободу этом.

— Конечно, конечно, — горько сказала Марья Павловна, — у меня есть желание, но нет средств, — конечно, должна... Но где же равноправность, Дмитрий, о которой ты всегда говорил?

— В одинаковой свободе, Маня, в одинаковой независимости мнений!

— На что мне *такая* свобода? Мнения и в тюрьме независимы.

— Вот в том-то и горе, что в тебе говорит не стремление к свободе, а влияние другого лица... Ты вольна поступать как хочешь; но хочешь ли поступать так, *твое* ли это хотение?



— Что ты желаешь этим сказать? — вся вспыхнув, вскрикнула Марья Павловна.

— Если Дмитрий Арсеньевич намекает на мои мнения... — начал было хриплым голосом Сергей Петрович.

— Я имен не называю, — отрезал Летятин, — но я прошу тебя, Маня, обдумать это. Имею честь кланяться, — проговорил он, обращаясь к Сергею Петровичу и, не подавая ему руки, быстро ушел в свою комнату.

— Постой, постой! — слабо вскрикнула Марья Павловна, бросаясь за ним. — Я должна тебе сказать... должна!..

Но Летятин не воротился, и она беспомощно села и, опустив голову на балюстраду балкона, тихо заплакала.

Ярко вычищенный самовар праздно шумел на столе, покрытом белоснежною скатертью; свет высокой бронзовой лампы весело отражался в хрустале стаканов, в серебре ложек, ножей и вилок, разливался по мебели, по стенам, по целой коллекции закусок, стоявших вокруг самовара в белых и зеленых жестянках, в серебряных сотейниках, в изящных салатниках и в другой элегантной посу-

де. Ночь была такая же прозрачная, как и три дня тому назад; но здесь, в Лоскове, она не была тихою ночью, потому что в разных местах сада изо всей силы заливались соловьи. Иногда случалось, что замолкало соловьиное пение, и тогда можно было различить дробное перекликанье перепелов в далеком поле. Мерный шум воды на мельничных колесах походил отсюда на шепот, и казалось, что это сама почва шептала о чем-то, шептались деревья между собою, развесистые ветлы, душистые липы, смутно белеющие березы.

Воздух, насыщенный запахом цветов, и пленительные в своей загадочности звуки ночи вносили странное раздражение в душу Марьи Павловны; она чувствовала, как стеснялось у ней в груди и торопливо билось сердце, и слезы, слезы лились из ее глаз. Порою соловей, задорно и бойко рассыпавши свои трели, обрывал их слабым, медленно угасающим звуком, и в этом угасающем звуке Марье Павловне чудилась такая печаль, такое томление, такая тоскующая мольба, что рыдания подступали к ее горлу и горе ее казалось ей огромным, отчаянным, непоправи-

мым горем. То, чего желала она и в чем полагала так еще недавно свое счастье, случилось; сказано было первое слово освобождения от старой жизни. И ей было больно, потому что было сказано это первое слово освобождения.

— Marie, — прошептал Сергей Петрович, осторожно наклоняясь к ней, — ради бога... — но она отстранила его.

Тогда он с немым отчаяньем стиснул свои руки и бесцельно устремил глаза в пространство. Как ему было неловко и жаль Марью Павловну и досадно на нее, и как злился он на «этого тупицу», обидным словам которого приписывал слезы Марьи Павловны!

Прошло полчаса. Марья Павловна выпрямилась, поспешно отерла слезы и, обмахнув платком разгоревшееся лицо, проговорила:

— Как это глупо, однако же!.. Вы едете? Вы на этот раз, кажется, верхом?.. Берите вашу лошадь, я хочу проводить вас.

— Удобно ли будет, Marie? — прошептал Сергей Петрович. — Он может быть в претензии.

— Что мне за дело до него и до всех! — резко ответила Марья Павловна. — Я хочу прово-

дить вас.

Сергей Петрович разыскал лошадь, взял ее за повод, Марья Павловна накинула платок на голову, и они пошли из усадьбы. Опустелый большой дом мрачно проводил их своими окнами, зиявшими как дыры на белизне стен. За усадьбой начиналось поле; в лощине, в стороне от поля и верстах в трех от усадьбы, неясно виднелась деревня, откуда доносились хороводные песни, и хорошо отозвались они в наболевшей душе Марьи Павловны.

— Ах, как свободно здесь! — воскликнула она, останавливаясь на узенькой дорожке, по сторонам которой высокою стеной стояла рожь. — Как пахнет! Точно вино разлито в воздухе...

— Это рожь цветет, — сказал Сергей Петрович и тихо обнял ее.

Она не сопротивлялась; она, не отрываясь, смотрела а пространство, где таинственными очертаниями выделялись холмы, лес, деревня, прошлогодний стог сена. Сергей Петрович, не выпуская ее из объятий, робко приблизил к ней свое лицо, коснулся ее губ. Она торопливо поцеловала егъ и снова выпрямилась,

повторяя:

— Какая прелесть! Как хорошо здесь!

— Он никогда не согласится жить в деревне, — мрачно сказал Сергей Петрович.

Марья Павловна пошла вперед.

— Надо это кончить, Serge, — нетвердо ответила она; не оборачиваясь.

— Но как же, как же возможно убедить его?

— Разве это нужно?

Сергей Петрович не нашелся что сказать.

— Когда я выходила замуж, мы уговорились в полной свободе. Разве теперь нужно убеждать, чтоб и он жил в деревне?

— Но тогда я не знаю, — с недоумением вымолвил Сергей Петрович, — неужели как-нибудь нельзя уладить?

— Как уладить?

— Ну, заручиться настоящим докторским советом и тому подобное. У меня есть знакомый доктор... Наконец положительно можно сказать, что ты хочешь лечиться кумысом. Кумыс готовится и зимою. Я думаю, может же он продлить свой отпуск!

— Боже мой! Да пойми же, мне нельзя с

ним жить! — нетерпеливо и горячо воскликнула Марья Павловна.

— Тогда есть лучший исход, — вдруг заволновался и заспешил Сергей Петрович, мгновенно уяснивший себе мысли и намерения Марьи Павловны и мгновенно же обрадованный ими. — Тогда живи со мною.

— То есть как? Потому что мне деться некуда? Из жалости?..

— О, что ты говоришь! — И он, выпустив повод из рук остановил ее и привлек к себе.

И почувствовав около себя теплоту и трепет ее тела, ов вместе с тем почувствовал прилив пьяной страсти и необыкновенный прилив страстных слов. Он целовал ее платье, лицо и прерывающимся голосом уверял в любви своей, лепетал о несказанном счастье, о свете, который она внесет в его мрачную жизнь, — он верил, что его жизнь мрачная, — о блаженстве жить с нею, поклоняться ей, боготворить ее. В его словах не было связи, и они были невнятные, безумные, дикие, но в них звучала такая торжествующая радость, такая смелая надежда на счастье, такая благодарность, что на душе у Марьи Павловны просия-

ло. Молча стояла она, охваченная умилением, стараясь спокойными жестами, ласковым и тихим движением рук укротить порывы Сергея Петровича, целуя его с материнскою нежностью и вместе с тем недоумевая внутри себя, отчего она не в силах ответить на эти порывы таким же пароксизмом страсти.

Было, однако же, поздно, и они принудили себя расстаться. Марья Павловна первая сказала:

— Ступай, довольно, я напишу тебе. Завтра же, может быть, напишу.

Как это ни странно, ей хотелось, чтобы он поскорее уехал. И, оставшись одна, она прислушалась к топоту быстро удалявшейся лошади и села на краю дороги, когда топот затих.

Песня слабо доносилась из деревни, крики перепелов становились ленивее и замолкали, и все больше и больше глубокая тишина опускалась на землю. И чем тише и молчаливее делалась ночь, тем громче говорили какие-то голоса в душе Марьи Павловны. Сначала говорил один голос — и соблазнительны были его речи: он сулил ей яркий день в ее се-

ренкой, спутанной и кропотливой жизни; сулил наполнить ее опустошенную душу, добро и правду и красоту отношений к людям... Он нашептывал ей про любовь — и нега любви, о которой она узнавала от него, стыдом и страстью жгла ее щеки. Ей казалась новизною эта нега любви и казалось, что не было и не могло быть такой неги, когда она выходила по любви за Дмитрия Арсеньевича Летятина. И вдруг ее мысли, точно зубчатые колеса, цепляясь друг за дружку, дошли и до той, которая вовсе не совпадала с счастливым настроением. И ей послышался серьезный, внушительный, требовательный голос: «Что будет с Колей? Что будет с этим молчаливым, сосредоточенным мальчиком без матери? И главное — что будет с нею, с матерью, без этого мальчика?» И воображение живо восстанавливало перед нею маленькую фигурку Коли, серьезно нахмуренные брови, сутуловатые плечи, худенькие руки с синими жилками, застенчивую полуулыбку и деловое, озабоченное выражение бледного личика. «Значит, отказаться от него! — шептала она пересохшими губами. — О, неужели отказаться-



ся?» — «Разумеется, — слышался ответ, — ведь ты отлично знаешь, как он близок с отцом, как вечно копается в его книгах и вещах, с великим уважением глядит на отцовскую работу, говорит с ним о телефонах, о паровиках, об электрической лампе. И тебе никогда не нравилось это его увлечение машинами и физикой и механическими курьезами, которые покупал ему отец, но, однако же, отец сумел же возбудить и развить это увлечение и посредством его привязать к себе сына, а ты не сумела, не смогла привязать его к себе, не добилась. Отчего он зевал в ответ на твои рассказы о несчастных людях и о великодушных людях и о доблестных поступках этих людей и с живостью бежал к отцу, когда тот начал ему делать опыты по Тиссандье?» — «Но ведь любит же он меня, любит! — тоскливо восклицала Марья Павловна. — Ведь помню же я его редкие ласки, его внезапные порывы, в которых так мило сказывалась эта любовь! Как я могла оставить его! Зачем нет здесь его со мною!» И утомленная, измученная, она поднялась с земли и торопливо пошла домой. «Да полно, будет ли лучше? — прошептал ей

вдогонку насмешливый, переполненный ехидством голос — Отчего это ты принуждена была чуть не навязать себя Сергею Петровичу? Не лучшим ли казался ему другой исход — интрижка, амуры за спиною мужа?» Вот этот голос уже решительно обозлил Марию Павловну. Стараясь ни о чем не думать, она сильно вдохнула в себя сладкий запах цветущей ржи, сорвала несколько стеблей и, приложив их к воспаленному лицу, снова прислушалась к хороводной песне. И снова звуки деревенской песни хорошо отозвались в ее душе.

Наутро она проснулась с свежою головою, бодрая, крепкая и ясно представила себе все, что случилось вчера. «О чем же тут раздумывать? — выговорила она про себя. — Дело решено, а там что будет, то будет. Лгуньей никогда не буду, и это главное — чтоб не быть лгуньей!» Одевшись с обычною своею тщательностью, она спросила, где муж; и пошла к нему, гордая сознанием своей правоты и своего отвращения ко лжи.

## IV

В тот же день, когда Сергей Петрович был в Лоскове, в его саду работали лутошкинские девки. Федор, высоко сидя на стропилах конюшни и прибывая гвозди к тесинам, заметил, однако же, желтенький платочек Лизутки, мелькавший в саду. С тех пор он все придумывал предлог, как бы пойти в сад.

— Дядя Ермил, — сказал он, — куда бы у нас сверлу моему деваться?

— Да где же ему быть? Поди, в столах где-нибудь.

— Ты гляди, садовник не взял ли: он вчерась ухватил что-то, а сказать не сказал.

— Отдаст, коли взял.

— Сверло-то аглицкое, — помолчав, сказал Федор, — пропадет — батюшка в отделку доканает за него.

— Струмент важный, это что говорить.

— Ты вот что: приколачивай-ка покуда, а я лучше добегу. Я духом слетаю.

И Федор проворно соскользнул со стропилы, уцепился за карниз и, повисев несколько на руках, спрыгнул наземь.

— Дядя Лаврентий, ты не брал сверла? — спросил он, подойдя к садовнику и искоса по-смотрев на Лизутку, с смеющимся лицом по-ловшую клумбы вместе с другими девками.

— Не брал; зачем мне сверло? — ответил Лаврентий.

Федор постоял немного и неловко улыбу-нулся. Девки шептались, пересмеиваясь меж-ду собою.

— Ты бы, дядя Лаврентий, подбадривал де-вок-то, — сказал Федор. — Денежки любят брать, а на работу небось жидки!

— Ишь малый-то иссох с работы! — на-смешливо проговорила бойкая курносая с гу-стыми веснушками на лице девка.

— Дня-ночи, бедняга, не знает, замотался на работе, — подхватила другая, — люди топо-ры в руки, а он бегаёт, за девками глядит.

— Жалеет! — с хохотом закричала Дашка, подруга Лизутки. — Барских денег жалеет!

Лизутка не поднимала глаз от своей рабо-ты, радостно и смущенно улыбаясь.

— То-то вы, девки, оголтелые, погляжу я на вас, — сказала красивая солдатка Фрося, вы-прямяясь веем станом и прищулив на Федо-

ра свои блестящие, покрытые поволокой глаза. — Чем бы угодить парню, а оне на смех... Этакого парня да кабы мне, горюше, я бы его на руках носила!

— Эх, вы! — сконфуженно сказал Федор и, поправив набекрень картуз, ушел из сада, провожаемый звонким девичьим смехом.

После обеда девки разбрелись отдыхать и, закрывшись шушпанами, без умолку говорили и смеялись. Молодые плотники Лазарь и Леонтий и конюх Никодим долго ходили от одной группы к другой, отгоняемые шушливою бранью. Наконец им удалось вступить в разговор с тою группой девок, где лежала и разбитная Фрося. Федор, не подходя к девкам, успел, однако, высмотреть, что Лизутка с Дашкой улеглись отдельно от других, в тени большого куста бузины; крадучись, он прошел туда и просунул голову под шушпан, которым были одеты девки.

— Чего лезешь, черт! — с напускным сердцем закричала на него Лизутка, ударив его по спине и быстро поднимаясь. — Дашутка, пойдем отсюда.

— Ох, леший вас расшиби, — притворно зе-

вая, сказала Дашка, — спать смерть хочется! — И, отвернувшись от них, она накрылась шушпаном и улеглась молча.

— Уйди, — проговорила Лизутка, оправляя спутанные волосы; из-под сердито нахмуренных бровей глаза ее, однако же, смеялись.

— Авось места-то не пролежу! — шутливо возразил Федор и, обняв Лизутку, лег с нею рядом, натянув шушпан на головы.

— Девки будут смеяться, уйди, — шептала Лизутка, — вчерась и то Анютка на смех подняла.

— Чего ей на смех-то поднимать? Самоё просмеять стоит.

— Как же, таковская, далась!.. Я, говорит, чужаков-то этих отвадила бы; аль свои плохи? Это, говорит, ребята-то наши смирны; доведись до иных, давно бы шею накостиляли!

— Эка, эка... посмотрел бы я, как накостиляли!

— Ох, Федюшка, — вдруг перешла Лизутка в ласковый тон, — я и то так подумаю-подумаю: и что мне, горькой, делать будет?

— Чего делать-то? Али я тебя брошу, желанную? — И Федор прикоснулся губами к го-

рячей щеке Лизутки.

— Ты что, миленок! Степан-то Арефьев зазвал наемднн батюшку в кабак, да и ну опять: я, говорит, Мишанька придет из Самары, я, говорит, сватов зашлю, петрова дня дождусь и зашлю.

— Эка, дошлый какой! Ну, погоди маленько, крылья-то обобьем. А Иван Петрович что?

— Да что! Батюшке пуще всего не по сердцу перед жнитвом меня выдавать. На том у них теперь и дело стало: Степан-то Арефьев говорит, на летней казанской чтоб свадьба, — у них в Лоскове престол на казанскую, — а батюшка: чтоб после жнитва, чтоб на осеннюю казанскую быть свадьбе. На том и стало.

— Вот буду домой писать. Домой напишу, придет ответ — и сватов зашлю. Я Мишаньку-то еще рано за пояс уберу. Эка, обдумали!

— Уж и не знаю, — со вздохом сказала Лизутка, — иной раз сижусь-сижусь так-то и подумать не знаю что. Мамушка и то говорит: «Что ты, говорит, Лизутка, не весела, такие ли твои годы? Я, говорит, в твои-то годы думушки не знала, какая такая думушка на свете есть!» А я все молчу: Мишанька-то по душе

мамушке; экой, говорит, парень работающий. Были они прошлым годом у Арефьевых, на праздник ездили, — уж он перед ней, — Мишанька-то! — такой-то угожливый, такой-то приветный!

— Ты бы закинула ей обо мне-то словечко.

— Ох, уж я думала! Стыдно больно, сизенький мой. Я так-то норовила в добрый час мамушке сказать, да все духу не хватает. Вот скажу — думаю, дай-ко-с скажу, да так и промолчу.

— Чего же ты? Авось я не гуляка какой, дела-то мои на виду. Пусть-ка спросят, какой я работник: как-никак, а прошлым годом сто восемьдесят целковых копейка в копеечку домой отослал! Пусть-ка он попытается, Мишанька-то, — надорвется! И опять семья!.. У нас в роду пьяниц или мотыг каких-нибудь в заводе не бывало. Батюшка, приходится, выйдет на сходку, ему первое место... Поглядел бы я на Степана-то Арефьева, какой ему почет!

— Далеко-то... далеко-то больно, — задумчиво сказала Лизутка.

— Что ж, что далеко? Это пешком далеко; а нынче дойди от нас до Волги пятнадцать



верст да тут от пристани тридцать пять — вот тебе и даль вся. Были бы деньги, а ноне проезд дешевый.

— А ну-ка ты на заработки-то будешь ходить, — забудешь меня на чужой стороне? Легкое ли дело — полгода без мужа жить. Мысли-то пойдут всякие!..

— Я еще посмотрю-посмотрю, да и брошу ходить. Меня и то в прошлом году на пристани оставляли: от двора пятнадцать верст, а работы сколько хочешь. Мне ежели тебя приютить, я и дома останусь. Ох, люблю-то я тебя, лапушка! — сказал он, крепко прижимая к себе девку.

На другой день желтый платочек Лизутки уже не мелькал в саду; Дашка тоже ничего не знала, отчего нет Лизутки, и Федор, одолеваемый беспокойством, особенно был пасмурен и суров. На третий день он с замиранием сердечным увидел, что на сивой ширококостной и сытой кобыле приехал в усадьбу Иван Петров, отец Лизутки. Усиленно работая фуганком над сосновой тесиной, Федор приметил, однако же, как Иван Петров медленно, по-стариковски, слез с лошади, не торопясь привя-

зал ее к забору, не торопясь высморкался в полу, оправил шляпу на голове, посмотрел долгим и пристальным взглядом на Федора и степенною походкой направился к дому. В доме он пробыл добрый час. Все это время Федору было не по себе; стружки градом летели из-под его фуганка, а он и не чувствовал нужды хотя бы в минутном отдыхе; страх ожидания волновал его.

В это время девки, отделившись в саду, шли на огород мимо самой конюшни, и Дашка, которую нынешний день еще не видал Федор, проворно подошла к нему.

— Лизутка-то матери сказала, — прошептала она.

— О? Не врешь?

— Право слово, сказала. Митревна-то и говорит: «Скажу старику, пусть как знает».

— А сама-то?

— Плачет. Лизутка говорит: так-то залива-ется, так-то заливается... И глазыньки мои, го-ворит, тебя не увидят, и загубит тебя распро-клятая чужая сторона... И тебя ругает. Знала бы я, говорит, я бы за ворота девку не выпу-стила... Я бы, говорит, ему, разбойнику, ноги

обломала.

— Приехал Петрович-то, к барину пошел.

— О-о? Ну, насчет тебя, право слово, насчет тебя... Это уж они с Митревной сговорились. Митревна вчерась и Лизутку не пустила: засадила кросна ткать.

Сергей Петрович вышел на крыльцо вместе с Иваном, и Дашка сейчас же побежала к огороду.

— Могу тебя уверить, Иван, что Федор престный, превосходнейший человек, — говорил Сергей Петрович, под наплывом новых впечатлений совершенно забывший свою досаду на Федора. — Вот я тебе считал по книге: ровно сто восемьдесят рублей он заработал в прошлом году на свой пай. И я тебе скажу, это великолепный человек. Ты знаешь, я бы тебя не стал обманывать, и вы вообще знаете, как я к вам отношусь. Ведь вы мною довольны, не правда ли?

— Да уж это чего зря толковать: жить, так жить по-соседски, — подумав, сказал Иван Петров.

— Нет, не то что по-соседски, но вообще я желаю приносить вам пользу; я вот хочу у вас

школу открыть. Это невозможно, чтобы не было школы! У тебя ведь есть, кажется, маленькие дети?

— Как не быть этого добра: девчонки есть, паренек.

— Ну вот. Сообрази теперь, как это будет хорошо, если у вас будет школа.

— Чего лучше.

— И ты, конечно, очень рад этому?

— Я что ж, Сергей Петрович, я — как старики... — и несколько быстрее добавил: — А что, насчёт пьянства или дебоширства, не водится за ним? Вы уж по-соседски, Сергей Петрович, по истине.

— Это что, насчет Федора? — спросил Сергей Петрович, немного раздосадованный плохим вниманием Ивана Петрова к школе. — О, я уж говорил тебе, что он превосходный мальчик, и я тебе от души советую выдать за него дочь, Иван. И знаешь, что прекрасно — он совершенно, совершенно не похож на других подрядчиков, знаешь, вот на таких, что каждую копейку выжимают из своего же брата.

— Какие его года, — сказал Иван Петров, — не тямом, поди, не расторопен по своему делу.

— Ах, не то что не расторопен, но, понимаешь, он не грабит, как другие.

— Уж это что же! Это последнее дело, ежели грабить... Я не токмо родную дочь, я и татарину не пожелаю, чтоб с эдаким-то водиться!

— Не правда ли? Нет, я тебе положительно советую, Иван Петров, и особенно если девушка твоя его любит.

— Как так можно, Сергей Петрович! — обиделся Иван. — Моя дочь, кажется, не какая-нибудь... Мы этого не слыхали.

— О, я совсем, совсем не хотел сказать что-нибудь дурное! Понимаешь, я хотел этим сказать... — И Сергей Петрович внезапно просиял от пришедшей ему в голову мысли осчастливить Ивана Петрова. — Знаешь, Иван, я сам к тебе поеду сватом от Федора... Не благодари, не благодари, пожалуйста, я поеду, и мы с тобой обо всем переговорим официально. И я буду посаженным отцом, или как там у вас. Мы это все устроим.

— Это дело впереди, — холодно ответил Иван Петров, — я признаться как наслышан, что вот, мол, парень... ну и девка у меня на

возрасте... Что ж, я поехал по-соседски, вам тут виднее... и опять он у вас работает. А это дело впереди. Женихов у нас много. Ты уж, Сергей Петрович, сору из избы не выноси, по-соседски. А что касательно женихов, у нас много.

— Как знаешь, Иван; конечно, это твое дело, — сконфуженно сказал Сергей Петрович. — Ты знаешь, я сам женюсь, и вот мне хотелось бы вообще сделать добро... И я очень люблю Федора, и он меня очень любит... Ну вообще ты понимаешь, я был бы очень, очень рад, так как я сам женюсь.

— Давай бог, давай бог, — дружелюбно сказал Иван Петров, — холостая жизнь хороша до время... Давай бог! Что же, Сергей Петрович, поди, богачку берешь? Из купечества, али как?

— Н-да... довольно богатая... очень рад... — пробормотал Сергей Петрович, не решаясь сказать Ивану, на ком он женится. — Пойдем, Иван, я вот покажу тебе... Смотри, сколько понастроено! Вот конюшня новая!

И они пошли смотреть конюшню.

— Вот, Федор, пришли на работу твою по-

смотреть, — значительно улыбаясь, проговорил Сергей Петрович, когда они подошли к нему, — как ты тут?

Федор снял ремешок с головы, потрянул волосами, поклонился.

— Пока слава богу, Сергей Петрович, — слегка упавшим голосом ответил он, — к вечеру крышу обошьем.

Иван Петров в ответ на поклон Федора молча и серьезно приподнял шляпу и снова глубоко нахлобучил ее.

— Работники, аль как? — спросил он у Федора.

— У нас артель. Известно как батюшка-родитель хаживал, рядился, ну теперь и я. А то у нас артель.

— А старичок-то уж не может?

— По домашности все управляется. Там пчелки, дворишко, лошади, коровы... Ухаживает.

— Гляди, не один, одному-то вряд управиться?

— Где одному! Там матушка, тоже старушка, сестра-вдова... ну, ребятенки у ней, подростки.

— А работник-то, значит, один, — и в хвост и в голову?

— Что ж, один, слава богу, зарабатываю хоть бы на троих. Зима придет, тоже без дела не сидим.

— Это что говорить, работать надо.

— Я ведь говорил тебе, что вот за шесть месяцев он взял с меня сто восемьдесят рублей! — вмешался Сергей Петрович.

— Деньги хорошие, — сухо ответил Иван Петров. — Я ведь так, к слову, Сергей Петрович; нам не токмо об чужих, об своих делах впору думать. Чужие деньги не сочтешь, их на водопой не гоняют! А я к тебе, признаться, вот за какую докукой: продай ты мне дубок, хочу перемет сменить.

— Изволь, изволь, — сказал Сергей Петрович, внутренне раздраженный «противным лицемерием» Ивана Петрова, и они отошли от Федора, при чем Иван Петров с прежним непроницаемым выражением лица приподнял свою шляпу в виде поклона.

Воротившись домой, Иван Петров с тем же обычным ему сосредоточенным и серьезным видом спутал кобылу, выгнал ее на гумно, где



зеленела сочная травка, мимоходом задвинул под навес телегу, стоявшую среди двора, и так как Митревна позвала его обедать, умыл руки и, перекрестившись, сел за стол во главе своего семейства. Его никто ни о чем не спрашивал. Лизутка, покрытая по-старушечьи своим желтеньким платочком, печально хлебала квас с крупно искрошенным луком. Митревна от времени до времени унимала ребят, делая сердитым лицо свое с славными лучистыми морщинками около глаз. Выйдя из-за стола и помолившись богу, Иван, ни к кому не обращаясь, сказал:

— Сергей Петрович поденщину собирает. Чего дома-то сидеть! Какой ни на есть двугривенный, все годится. Дома не высидишь!

— Как туда ходить-то: полон двор охальников понабрали! — с сердцем проворчала Митревна.

Но Лизутка, не слушая матери, с радостным лицом выскочила из сеней и, схватив ведро, бегом побежала на речку.

— Люди как люди, — заметил Иван, — молодое об молодом думает. — И, выпроводив ребят на улицу, он кратко и выразительно со-

общил Митревне то, что нашел нужным сообщить.

Вечером Митревна, беспрестанно обтирая уголком платка слезящиеся глаза, передала этот разговор Лизутке.

Вечером же не утерпел и Сергей Петрович, чтобы не рассказать Федору во всех подробностях разговор свой с Иваном Петровым. Усадив его на ступеньке балкона и приказав ему и себе вынести чаю, Сергей Петрович до конца вылил свое дружелюбие и благосклонность. Он повторил и Федору свое предложение быть за него сватом. Федор благодарил с признательностью и действительно был расстроган живым участием Сергея Петровича. Решили сделать так: написать письмо родителям Федора и по получении от них ответа Сергею Петровичу прямо ехать к Ивану Петрову.

— Хотя я совершенно не понимаю, Федор, зачем тебе писать об этом, — кипятился Сергей Петрович, — какое кому дело до твоих чувств к Лизе?

— Никак нельзя, Сергей Петрович, — упрямо возражал Федор, — никак невозможно без

родительского благословения.

Во всяком случае, они разошлись довольные друг другом и каждый по-своему счастливый.

Впрочем, Сергей Петрович считал себя счастливым не потому только, что ему удалось сделать, как он думал, полезное Федору, но и потому, что еще до появления Ивана Петрова к нему приехал Дмитрий Арсеньевич Летятин и в необыкновенно торжественной и приличной форме сообщил ему, что он по делам уезжает в Петербург и что просит Сергея Петровича не оставить своим покровительством Марью Павловну. Дмитрий Арсеньевич не позволил себе ни одного намека на то, чтобы ему было известно все, но Сергей Петрович легко догадался по самому виду Дмитрия Арсеньевича и по официальной и несколько напряженной манере его разговора, что ему все известно. Он приехал точно с визитом, в сюртуке, застегнутом доверху, и лицо его, обыкновенно цветущее и самодовольное, было бледно, ясные выпуклые глаза потускнели и ввалились. Он и в этот раз не подал руки Сертею Петровичу; холодно промолчал, когда

Сергей Петрович, умиленный его великодушием, вздумал извиниться за некоторую резкость выражений в их недавнем споре; отказался от чая и от предложения закусить.

Вечером на другой день Федор догнал Лизутку и Дашку, шедших домой позади других девок, и пошел с ними рядом. Он еще в первый раз в этот день увидал Лизутку.

— Ну, как дела? — спросил он.

— Ох, уж и не знаю, что сказать, — проговорила Лизутка, — батюшка что говорит: «Пойдет, говорит, Федор в зятя, — обеими руками выдам, а ежели в зятя не пойдет, чтоб и думать забыли... Аль я, говорит, из ума выжил — за тридевять земель девку выдавать?.. А коли эдак, пусть хоть теперь сватов засылет; я, говорит, на Мишеньку Арефьева и внимания своего не обращаю...» — И она с тревогой поглядела на Федора. Тот опустил голову.

— Вот оно какое дело, — сказал он в раздумье и немного погодя повторил со вздохом: — Вот дело-то какое...

Несколько минут они шли молча.

— Чего тебе не идти-то? — сказала Дашка. — Авось двор-то исправный. Петрович,

гляди, какой еще крепкий!.. Али скотину теперь взять, вон две коровы у них, да, никак, овец с двадцать, — будет, что ли, двадцать-то, Лизутка?

— Двадцать две, — печально ответила Лизутка.

— Ишь сколько! А там лошади... эдак да не идти!

Но Федор и на это только вздохнул глубоко.

По земле ходил легкий ветерок и колебал нивы. Крепко пахло сеном от скошенного луга. В небе зажигались звезды. Сумерки были теплые, с тихим и кротким отблеском зари, с прозрачным и гулким воздухом, в котором ясно раздавался всякий звук. Шедшие впереди девки пели плясовую песню, и солдатка Фрося, размахивая платочком, плясала под нее.

— Побежать и мне «Березу» подтянуть, — неожиданно проговорила Дашка. — Экая эта Фрося отчаянная! — И она побежала к девкам. Лизутка прижалась к Федору и опять с тревожною робостью посмотрела ему в лицо.

— Федюшка, — прошептала она, и на ее глаза навернулись слезинки, — аль не пой-

дешь в зятя-то?.. Я ли тебя не любила бы, желанненький?.. Я бы тебя, друга милого, с глаз не спускала... Аль не пойдешь, друженька?

Федор засопел носом и крепко обнял Лизутку.

— Краля ты моя... Я бы не токмо что в зятя, — я бы из-за тебя в батраки пошел!.. Вот батюшка-то как!

— Пиши, пиши письмо-то, сизенький... Аль уж они враги своему детищу!.. Ты им напиши, Федюшка, получше, хорошенько все пропиши... Пусть-ка люди-то меня охают, али семья наша какая непутная. Пусть-как скажет кто!.. Я тебе не в похвальбу какую скажу: я, жать ли, вязать ли пойду, я ведь никому не поступлюсь... Или я озорная какая? Я словечушка не пророню лишнего... Ты все пропиши, Федюшка! Вот теперь женихи сватаются... а какие мои года? Мне прошлым успе-ньем семнадцатый пошел, а уж батюшке говорили: кабатчиков сын из Богдановки всей бы радостью взял... Да наплевала бы я на него, рябого черта!

— Аль я не знаю? Я-то что... как батюшка вздумает.

— Да ты пропиши ему, что заработок-то отсылать будешь. Аль мы за деньгами твоими погонимся?.. Батюшка говорит: парень-то мне по нраву.

— Барин будет писать, обещал...

— О-о? Вот дай бог ему здоровья. Голубенок ты мой, то-то любить-то я тебя буду...

— Еще что говорит барин-то, — с легким оттенком насмешливости сказал Федор, — я, говорит, сватом поеду за тебя, я, говорит, для тебя вот как — всею душой!

Лизутка засмеялась, но, подумав, с живостью проговорила.

— Пускай, пускай его, Федюшка, пусть сватается... батюшка-то у него землю снимает, поди, сговорчивей будет с барином.

И толки о предполагаемом сватовстве, о свадьбе разогнали их заботы. Федор перестал сомневаться в согласии своих родных; и как же было ему сомневаться в этом согласии, и как же было думать ему о какой-то помехе, когда, прижимаясь к нему, медленною поступью шла красивая девка с косою до пояса, с ласковым блеском в глазах, полногрудая, румяная, темнобровая, и такая близкая ему, что

он не мог сказать, когда увидел ее в первый раз, потому что ему казалось, что он весь век знал ее и смотрел на нее? Они далеко отстали от девок, и хорошо было им идти вдвоем, обнявшись. Ветерок тянул в их разгоряченные лица запахом трав и цветущих полей. Сумерки становились все гуще; веселая плясовая песня одевала весельем и ясностью широкий простор окрестности и смутным гулом отдавалась в лесу, лежащем на дороге... Встретилась им лихая тройка, быстро промелькнувшая мимо с удалым криком ямщика, с разливчатым звоном колокольчиков и грохотом колес; ямщик обернулся и лукаво подмигнул им, молодежато скосив набекрень шляпу, повеселели лица унылых седоков, сторбившихся в тарантасе с своими кокардами на околышах, с темно-зелеными портфелями на худых угловатых коленях... И так было хорошо Лизутке и Федору, что когда прервалась плясовая песня «о березе» и тонкий голос Фроси затянул:

*Все кусточки, все листочки веселехоньки стоят,  
Веселехоньки стоят, да про мило-*



*ва говорят,  
Тужить, плакать не велят... —*

обоим им казалось, что это именно им, Лизутке и Федору, не велят тужить и плакать «веселехонько» шелестящие листочки развесистых лип.

Наутро Сергей Петрович со всевозможной убедительностью написал письмо в нижегородскую деревню Федора и не пожалел красок, расхваливая Лизутку, ее отца и всю ее семью.

— Вы, Сергей Петрович, пуще насчет заработков-то налегайте, — раз а три повторял Федор, — чтоб насчет заработков беспокойства не было: хотя ж я и удаляюсь во двор, но заработки согласен отсылать родителю по-прежнему.

— Не беспокойся, не беспокойся, Федор, — снисходительно улыбаясь, сказал Сергей Петрович, — так, брат, написано, что не могут отказать. Я, пожалуй, для твоего удовольствия напишу и о заработках, но это не важно... Тут важно на душу подействовать, возбудить в них чувство гуманности, справедливости, — и, заметив, что лицо Федора внезапно поглу-

пело при этих словах и сделалось неприязненно-вежливым, Сергей Петрович раскрыл свой портсигар и благосклонно произнес:

— Кури, кури, пожалуйста... кури, Федор.

Летятин собирался в Петербург. Уложивши собственноручно и с великою аккуратностью свои кабинетные вещи в изящный чемодан, оправленный посеребренным металлом, он потянулся, вздохнул от усталости и, вдруг вспомнив, что его мучило все эти дни, сел на диван и, опустив голову на руки, глубоко задумался. О, ему было очень тяжело! Ему и потому еще было тяжело, что беда пришла как-то внезапно, неожиданно, застала его врасплох, в период того самодовольного состояния души, когда все кажется удивительно целесообразным и ясным. Вступая в настоящую, в «серьезную» жизнь, он, думалось ему, твердо знал, что добро и что зло в жизни, и принял большие меры, чтоб обезоружить зло и заручиться добром. Он знал, что бедность — зло, и разнузданные страсти — зло, и болезнь — зло, и так называемые «увлечения» — зло; и вот в противовес этому злу он заручился очень высоким окладом в банке, разумною и красивою женой, щепетильною охраной здоровья, умеренностью, порядочно-

стью; и за все-то эти бастионы ворвалась враждебная сила и теперь нагло потрясла их даже до самого основания. Все перепуталось в его голове... Правда, по внешности он и теперь не изменил своей всегдашней последовательности: все, что он считал нужным и должным, — все проделал он высокоприлично и неукоснительно.

Но ему было тяжело. По временам на него находили припадки малодушия. Раз даже что-то вроде ненависти почувствовал он при взгляде на Марию Павловну, когда она самым беспечным тоном, как ему показалось, спросила его, отчего он так бледен и здоров ли он. Другой раз, оставшись один, он плакал. И вот теперь, глубоко задумавшись о своей жизни и о том, что ясность этой жизни необходимо должна теперь померкнуть, а основательно проторенная жизненная колея загромоздиться неожиданными препятствиями, он опять испытывал чувство тоски и страха. Это был невежда в математике, который зазнался оттого, что безошибочно решал задачи с известными величинами; ему дали решить задачу с неизвестною величиной, и вместо того чтобы

искать неизвестное в отношении уже известных ему величин, он произвольно считал «икс» тоже известным ему; и когда он был на высоте своей «последовательности», ему казалось, что хотя задача и трудная, но разрешимая; и когда падал духом, он видел, что задача неразрешима для него.

На этот раз он подумал, что нужно во что бы то ни стало добиться, чтобы задача была поставлена иначе. О, лишь бы устранить этот загадочный и мучительный для него «икс»! Может быть, больна Марья Павловна? Может быть, ей действительно хочется пожить в деревне? Может быть, ей приятно было общество Сергея Петровича, и оскорбило ее то, что он резко обошелся с Сергеем Петровичем? Как было бы все прекрасно, если бы одна из этих «известных величин» была причиной всей тревоги.

Он выпил залпом стакан воды, привел в порядок волосы и, постучавшись, вошел в комнату Марьи Павловны. Она сидела печальная, с заплаканными глазами, над тетрадкой, переплетенной в темно-зеленый сафьян и украшенной на каждой странице вы-

резными картинками. Это была тетрадка Коли. При входе мужа она поспешно бросила тетрадку в ящик стола и, задвинув его, повернула два раза ключ. Кроткое выражение на ее лице тотчас же заменилось выражением тупой и страдальческой покорности.

— Я помешал тебе? — тоном виноватого спросил Летятин.

— Ах, пожалуйста...

Он неловко уселся и помолчал.

— Ты хотел что-то сказать? — с нетерпением проговорила Марья Павловна.

— Да... я... видишь ты, что я хотел сказать: я хотел сказать... то есть я хотел просить тебя... подумай!

— О чем?

— Неужели все это так нужно, что ты делаешь?.. И неужели необходимо... портить и свою и чужую жизнь?

Марья Павловна пожалала плечами.

— Послушай, — торопливо заговорил Дмитрий Арсеньевич, подымаясь со стула, — послушай, Маня, что я скажу: оставим это! — И, боясь, чтоб она не перебила его, продолжал, возвысив голос: — Я знаю, что ты ска-

жешь, но погоди, погоди... В чем дело? Почему? Где логика?.. Ты сама сознайся, Маня, что тут и следа нет логики. Ты любила меня. Все, что ты требовала от жизни, я все старался давать тебе. Наши принципы были совершенно сходны... Нашу жизнь мы всегда устраивали с общего согласия, разумно и трезво. Вообрази же, что вдруг этот нормальнейший режим, эта рациональнейшая и трезвейшая постановка важнейших жизненных задач рушится без всякой видимой причины... Что это значит такое?.. Надо подумать об этом, Маня. — И снова, не давая ей говорить, продолжал: — Не думаешь ли ты, что ты больна? Тогда лечись, лечись, вызывай к себе какую угодно знаменитость... Ты хочешь жить в деревне? Живи; летом я буду приезжать, а ты живи, живи хоть круглый год... Ты оскорблена моим разговором с Сергеем Петровичем? Тогда я извиняюсь перед ним, даю ему какое угодно удовлетворение. Ты рассуди и подумай одно: странная и необъяснимая нелогичность, — отчего это? Ты говоришь, любишь... того и не любишь меня; ну, укажи ты мне причину, причину этой нелюбви! Я мог сделаться

негодным человеком, лгуном, развратником — сделался ли я таким? Нет! Я мог сделаться уродом, пьяницей, хронически больным, мог поглупеть, одряхлеть — стал ли я таким? Нет и нет. Подумай наконец, что же это значит?.. Когда развитой человек как будто без причины сердится, он ищет причину и непременно находит ее: либо встал поздно и с головною болью, либо печень опухла, либо желчь разлилась. Поищи же причину! Ведь сама посуди, ты говоришь: дважды два — пять...

— Ах, оставьте меня, пожалуйста!.. Не знаю я этого... И ничего не хочу знать... Поищите вы, что я не могу, не могу так... Что вы меня мучите?.. Я знаю одно: вы были *такой* в моих глазах, а теперь *не такой*... Я вас очень уважаю, Дмитрий Арсеньевич, но жить с вами, быть вашею женой не могу, — понимаете ли? — не могу, не могу!.. И зачем нужны все эти объяснения?.. Вы, конечно, помните наш договор: не стеснять свободы друг друга. Помните?

— Но мы тогда подразумевали, что, может быть, не сойдемся характерами.



— Бог знает, что мы тогда подразумевали!.. Я помню одно: не стеснять свободы... Я не могу, не хочу быть вашей женой, — этого, кажется, довольно. Я вам говорю, что люблю другого, — неужели мало этого?

— Но ненормально, Маня...

— А! Ненормально? — в сильнейшем раздражении вскрикнула Марья Павловна. — Значит, по-вашему, нормальна подлость... нормально любить одного и принадлежать другому?.. Да что я вещь, что ли, Дмитрий Арсеньевич?

— Не вещь, но ты больная...

- Очень, очень гуманно!.. Ну, хорошо, вы согласны жить с такою женой, которая лжет по болезни, хорошо же! Я лгала перед вами, — слышали? — уже лгала... Я позволяла целовать себя... Я выслушивала признания в любви... Не дальше, как три дня тому назад, я сама целовала Сергея Петровича... и вот этими самыми руками (она высоко подняла свои руки) обнимала его, чужого, а не вас, своего законного мужа!

— Весьма жаль, что вы прибегли к этой отвратительной лжи, — с презрительною

усмешкой сказал Летятин, весь вытянувшись и изменяясь в лице.

— Как видите, прибегла, — ответила Марья Павловна усталым, равнодушным голосом.

— Я действительно полагал иметь дело с честными людьми.

— Напрасно.

— С человеком, способным на такие низости, действительно лучше всего разойтись.

— Вот видите!

— Но как же вы смели, сударыня, заводить пашни, нося мою фамилию? — совершенно взбешенный закричал Летятин. — Как вы осмелились трепать в грязи мое имя?.. И еще имеете наглость указывать на какие-то договоры, на принципы!.. С развратницами один договор — гнать их из честного дома, — слышите ли? — гнать, гнать, гнать...

Марья Павловна сидела, не спуская глаз с мужа, и странно улыбалась будто чужою, заимствованною улыбкой. С последними словами он выбежал из комнаты, крепко хлопнув дверью, она все продолжала сидеть, жалко улыбаясь. И когда в ее оглушенном сознании вдруг повторились упреки мужа, вдруг раска-

ленною струей поразили ее внутренний слух слова: «Развратница, шашни, трепать в грязи», — она судорожно схватилась за горло и, побледнев, как полотно, без стога, без вздоха, без дыхания повалилась на пол.

Летятин уехал в ту же ночь, не простившись с женою. Оправившись от обморока и лежа в постели, она прочитала краткую записку от него: «В соблюдение приличий я *требую*, чтобы вы начинали дело о разводе. Издержки процесса брать на себя не намерен, ибо мне нужны деньги для сына. Весьма сожалею, что принужден был прибегнуть к резким обобщениям».

«Для сына... для сына... — растерянно пробормотала Марья Павловна. — Но неужели он намерен совершенно отстранить от меня Колю?.. Господи, что же это такое?»

Между тем Дмитрий Арсеньевич, сидя на мягком диване первоклассного вагона, мчался вдаль. Ему, несмотря на мягкие пружины дивана, было очень скверно, но зато «задача» помещалась в его последовательной голове с совершенно готовым разрешением. Развращенность Марьи Павловны — вот причина

всего! Он просто не угадал ее темперамента. Теперь для него стали чрезвычайно ясны и ее скука, и ее пресыщения рациональною жизнью, и ее лихорадочные посещения балов, театров, концертов, спектаклей. Очень вероятно, что у ней и тогда, особенно за границей, были какие-нибудь амурсы, но все-таки в столице, в среде культурного общества, она не решалась посягать на приличия; здесь же — эта дурацкая простота отношений, это мерзейшее захолустье и единственный знакомый, здоровый малый с румяною рожей и дикими идеями, и вот всего этого оказалось вполне достаточно, чтобы разнуздать ее темперамент. «Принципы! — с злобою восклицал Летятин. — Убеждения! Ах, вы...»

Впрочем, на курьерском поезде Николаевской дороги Дмитрий Арсеньевич встретил некоторых знакомых, которые очень ему обрадовались и сразу затеяли с ним интересный деловой разговор преимущественно о реализации новых бумаг, вышедших в то время. Эта встреча, а затем и вообще дорожные впечатления сделали то, что он по приезде в Петербург значительно успокоился. Не изме-

няя своего мнения о причине разрыва с женою, он сообразил, однако же, что из-за этого ему еще не следует приобретать репутацию отсталого человека. На отчаянное письмо Марьи Павловны о Коле он с достоинством отвечал, что, вероятно, ничто не воспрепятствует Коле провести будущее лето у матери, если она согласится жить летом отдельно от Сергея Петровича и если с Колей поедет брат Марьи Павловны, неженатый еще преподаватель ботаники в одном высшем учебном заведении. К сему он добавил, что дело о разводе предоставляет ее решению, готов даже в случае необходимости изображать из себя quasi-виновную сторону; в заключение же просил распорядиться, куда выслать ее деньги и вещи. В Петербурге, не прожив двух месяцев, он был снабжен поручениями в Берлин и в Лондон, где крупные и сложные операции одной финансовой сделки совершенно поглотили его, доставив ему в конце концов еще больший оклад и еще выгоднейшее место в банке.

Первые дни после отъезда мужа Марья Павловна чувствовала себя совсем плохо, и особенно плохо с тех пор, как решилась ото-

слать мужу письмо, в котором молила не разлучать ее с Колей. Присутствие Сергея Петровича не давало ей успокоения; напротив, оно было даже неприятно для нее. Целыми днями она не уходила с террасы, защищенной маркизами от солнца, и целыми днями ничего не делала — не читала, не ела, не гуляла. Но зато, измученная своими мыслями, она скоро убедилась в их бесплодности и совсем перестала думать. И как только перестала думать, впечатления внешнего мира целительно начали влиять на нее. Звонкие голоса птиц, грозы с торжественными раскатами грома и ослепительным блеском молнии, запах цветов и деревьев, ясная лазурь неба, далекая песня в поле, — все это умиротворяло ее раздраженные нервы и незаметно вносило странный, какой-то снотворный покой в ее истерзанную душу. Спустя неделю она гуляла и, усталая, возвратившись домой, поела с небывалым еще аппетитом. Спустя еще неделю она согласилась поехать с Сергеем Петровичем на покос, и ей большое удовольствие доставили резвый бег лошади, запряженной в покойном шарабане, хорошее напряжение

мускулов, когда она сама взялась править лошадью, и особенно лекарственный запах сухого сена, оживленные толпы баб и мужиков, с песнями метавших стога, — весь этот праздничный вид дружной и веселой работы.

Ответ Дмитрия Арсеньевича окончательно восстановил ее счастливое настроение. Обезумев от радости, она тотчас же послала за Сергеем Петровичем и даже удивила его невиданным еще взрывом нежности и тем отсутствием грусти и слез, которые до сих пор омрачали их отношения. «Теперь вместе, вместе... — говорила она, — ради бога скорее... Зачем я живу в Лоскове? Я люблю твой хутор, — слышишь ли? — Я хочу быть хозяйкой твоего хутора... Завтра же перееду к тебе!» Но Сергей Петрович отклонил это; с разными недомолвками он уговорил ее подождать. Одна из причин отсрочки, в сущности, была вот какая: Сергей Петрович, встречаясь со своими знакомыми, везде рассказывал, что он женится на Летятиной и что не позднее месяца процесс о разводе ее с мужем, который тянется вот уже полгода, совершенно окончится. «Это стоило пропасть денег, — говорил он, — и только

благодаря некоторым связям все кончается благополучно. Притом я должен сказать, что поведение Дмитрия Арсеньевича Летятина во всем этом деле очень, очень благородное». О другой причине несколько позднее узнала сама Марья Павловна.

Раз, катаясь по полям в своем элегантном шарабане, они увидели тяжело нагруженные подводы, тянувшиеся к ним навстречу. Подъехав ближе, Марья Павловна заметила, что впереди подвод шел конюх Сергея Петровича и что груз состоял из больших ящиков с надписями: «Сан-Галли», «Лизере», «Шредер»...

— Все благополучно, Сергей Петрович, — сказал конюх, останавливая переднюю лошадь и снимая шапку перед господами. — По квитанции все получено.

— Благополучно? Ну, хорошо, хорошо, ступайте.

— А как же, Сергей Петрович, значит, составлять прямо к дому?

— Да, да... ступайте! — и Сергей Петрович ударил вожжами лошадь.

— Это что же такое? — в недоумении спросила Марья Павловна. — Эти вещи от Сан-Гал-



ли?

— Невозможно же, Marie: у меня ведь возмутительная обстановка!

— Но, например, от Шредера — это, вероятно, рояль — у меня же есть рояль?

— Ну, что это! Я хотел иметь все самое лучшее...

— А от Сан-Галли, например, что это в таком большом ящике?

— Это? Это необходимая вещь... Купальный шкаф.

— Но для чего же, Serge? — тоскливо воскликнула Марья Павловна: она припомнила, что ее жизнь с Летятиным началась именно такими покупками от Сан-Галли, Шредера и Лизере, и ей было очень неприятно это совпадение.

— Но, дорогая моя, повторяю тебе, что у меня ужасная обстановка.

— Напротив, у тебя так просто, так мило.

— Зачем же обходиться без вещей, к которым ты привыкла?

— Да ведь опротивел мне весь этот несносный комфорт!

— Нет, нет, не говори этого, Marie... Нако-

нец, мне было бы очень неприятно, если бы ты, моя прелесть, моя несравненная красавица, очутилась в какой-то хижине дяди Тома. Вокруг тебя должно быть все хорошее, все изящное, все красивое!

— И даже купальный шкаф?

— И даже шкаф, потому что я хочу, чтобы ты всегда была свежая и здоровая. Ты знаешь, я настолько не согласен с Дмитрием Арсеньевичем, насколько он тяготеет к бюрократии и к этому противному культурному ритуалу... Конечно, это очень отсталые и даже возмутительные понятия, но раз мы решили принести пользу деревне, мы этим не отказываемся от благ цивилизации. Я в этом случае прибегну к аналогии: представь, что это солнце есть цивилизация, — он указал рукою на облачное небо, — и представь, что есть страна, буквально покрытая разным сугубым мраком... Но в стране есть рефлекторы, — одним словом, мы с тобой и люди одинакового с нами... ну, хоть одинакового типа. Прекрасно. Вообрази теперь, что эти люди, или эти рефлекторы, как я их называю, собираются в одном месте и все испускают сильный свет. По-

нятно, они очень мало разгоняют темноту! Ведь они собрались в одном углу, — как же осветить большое пространство? И они совсем не разгоняют темноту, а светят только для себя самих. Прекрасно. И вот мы уходим из этого скопления в самую глубь темноты, в пучину, так сказать. Мы тоже должны во всем блеске отражать солнце-цивилизацию (он снова ткнул пальцем в небо), но свет, от нас падающий, будет, несомненно, разгонять темноту, а не утешать только нас самих. Это теория справедливого распределения, другой мой!

— Но какой же свет от моего купального шкафа?

— Ах, Marie, так невозможно формулировать! Ты берешь подробности, частность, деталь!.. но нужно шире смотреть на вещи. Кто же в таких вопросах берет детали?.. И, пожалуйста, ты не возражай... — Он поцеловал ее руку.

Мария Павловна легонько вздохнула и, взяв у него вожжи, шибко погнала лошадь. Сильный ветер дул им навстречу, кругом, насколько видел глаз, расстилались желтеющие

поля, волнуемые ветром; солнечный свет причудливыми пятнами ходил по ним, засти- лаемый быстро бегущими облаками. Вдали, у самого горизонта, неподвижно висела синяя туча и частый дождик сплошными длинны- ми иглами спускался из нее на поля. Пахло землею, полынью, влажностью, и грудь легко подымалась, вдыхая этот славный, предвеща- ющий дождливую погоду и грозу, запах. Ма- рья Павловна жадно ловила свежую струю воздуха полуоткрытыми губами и глядела не нагляделась на поля, на синюю даль, на ко- сые иглы далекого дождя, на прихотливые пе- реливы света и теней, бродящих по полям... И в ответ всей этой свежести, простору, красо- те, — в ответ этому здоровому разнообразию красоты, — в ней сильно и мужественно на- прыгалось непосредственное чувство жизни, самодовлеющее наслаждение жизнью, — то славное и здоровое ощущение, когда всеми мускулами, всем существом своим чувству- ешь, что живешь и что каждое биение твоего сердца совпадает в один лад с неслышным биением великого сердца природы. И встреча с комфортабельными вещами на подводах

незаметно исчезла из ее памяти.

В конце июля Сергей Петрович уговорил Марью Павловну съездить в Оренбург, где, по его словам, она могла увидеть интереснейшие и оригинальные сцены, живо переносящие в самую глубь Востока. Там и сям он объявил под рукою, что едет венчаться с Марьей Павловной, так как бракоразводный процесс кончился. И, возвратившись из Оренбурга, они прямо проехали на хутор, как муж и жена. Крестьянам соседних деревень было выставлено по сему случаю соответствующее угощение. Из культурных людей уезда некоторые сделали визиты, к удивлению Марии Павловны: не посвященная в маневры Сергея Петровича, она приписала эти визиты успеху просветительных идей в провинции. Затем все пошло благополучно и своим порядком.

За всякими хлопотами Марья Павловна уже не могла аккуратно пить кумыс; да теперь, при взгляде на нее, любая знаменитость не нашла бы нужды в лечении, — так переменялась и поздоровела она, и такую здоровую живостью засветились ее глаза. Все подробности нового быта ужасно занимали ее. С ранне-

го утра она ходила по хозяйству, заглядывала в людскую, в кухню, спускалась в ледник, бралась своими красивыми руками в шведских серых перчатках за грабли, заступ, лейку и целыми часами возилась в огороде и в саду. Ее изящную фигуру видели и на жнитве, и на возке снопов, и на молотье, и на пашне. Во все она всматривалась, обо всем любопытствовала, и все ей очень, очень нравилось. Она даже выучилась у Сергея Петровича управлять регулятором паровой молотилки и раз, не помня себя от восторга, прошла целый загон за рамсоновским плугом, необыкновенно наслаждаясь глухим звуком падающего на ребро пласта земли, крепким запахом разорванных корней и влажной подпочвы. Она порезала себе руку, пытаясь жать пшеницу; на возке снопов ей измазали дегтем прелестное платье из китайской шелковой материи... Это были ее несчастья. Но зато как мило загорела она! Какую постоянную бодрость чувствовала она во всем своем теле! Как легко и ясно было у ней на душе! Она не любила сидеть дома и особенно не любила свою комнату; дома, и особенно в своей комнате, она

видела признаки прежней своей жизни, и это отражение прежней жизни тяжелым и беспокойным бременем давило ее. Точно так же не любила она видеть и Сергея Петровича, когда он был одет в модную жакетную пару, в тонкую щегольскую рубашку с золотыми запонками, когда он по-модному причесывался с пробором, надевал свою шляпу от Брюно и лакированные ботинки с китайскими носками. Она даже не любила запаха чрезвычайно тонких духов, которыми он имел обыкновение прыскаться в торжественных случаях. Все, все это было в ее глазах признаками прежней жизни и все вносило беспокойство в ее душу, напоминало ей о том, о чем неприятно и горько было вспоминать. И напротив она любовалась Сергеем Петровичем, когда он в коротеньком пиджаке хлопотал около паровой молотилки или шел за плугом, который отчего-нибудь дурно работал в руках не привыкшего к усовершенствованным орудиям плугаря, или смело и ловко управлял молодым, только что обьезженным жеребцом. Тогда его движения были особенно мужественны и свободны и казались воплощением безусловной

красоты. И никогда она не чувствовала себя так хорошо, как в то время, когда Сергей Петрович приезжал с поля, и по грубому стуку сапог в передней она узнавала, что это он, и вместе с ним врывался в комнату пленительный для нее запах сена, спелого хлеба, свежей земли и смелый, громкий голос, не привыкший стеснять себя, как стесняются голоса в гостиных, в министерских приемных и в будуарах светских барынь.

Впрочем, непрерывная череда веселых хозяйственных забот и хороших впечатлений деревенской жизни не утушили в душе Марьи Павловны великодушных мечтаний о помощи «несчастливым людям». Но к удивлению своему ей не удалось еще встретить таких людей. Год был урожайный, и она повсюду видела оживленные лица, дружную работу с песнями и смехом, видела довольных людей. И к еще большему удивлению она видела, как к Сергею Петровичу заезжали иногда его соседи-землевладельцы и проводили целые часы в жалобах на необыкновенную дороговизну «рабочих рук», на избалованность, грубость, мошенничество, пьянство, лень, разврат



рабочих, на дешевизну пшеницы, на отсутствие элеваторов и дешевого кредита, и вот из этих-то людей многие поражали ее своим несчастным видом. Но им она сочувствовать не могла. Правда, начиная с самого покоса, по дорогам Самарской губернии тянулись нескончаемые обозы войлочных кибиток и шли вереницы оборванных, изможденных, спаленных солнцем людей. У каждой деревни, у каждого поселения разбредались скуластые, некрасивые, старообразные женщины в войлочных шляпах, дети в ермолках, старики с оголенною бронзового цвета грудью и просили ради бога хлеба. Но, несмотря на их ужасный и подлинно несчастный вид, Марья Павловна не особенно стремилась помогать им, то есть она давала им хлеба, кое-что из платья, иногда деньги, но душа ее не загоралась жалостью и любовью к ним, потому что их лица, их костюмы, язык и обычаи были слишком чужды ей. К тому же хорошие цены на жнитво скоро прекратили это нищенство.

Понятно, что Марья Павловна была посвящена в сердечные дела Федора и Лизутки. Это ее очень заинтересовало. Она немедленно познакомилась с Федором, то есть несколько раз заговаривала с ним о том, о сем, и постаралась расположить его к себе ласковым и вежливым обращением. Во время жнитва ей удалось повидать Лизутку и даже поговорить с ней, но, разумеется, поговорить о самых посторонних вещах. В другой раз, и тоже на жнитве, она успела уговорить Лизутку в первый же праздник прийти к ней, потому что выяснилось, что Лизутка знает много песен, а Марье Павловне любопытно записать эти песни.

— Да на что тебе наши песни? — спросила Лизутка. — Чай, ваши, барские, куда складнее.

— Уж надо, голубушка... Есть очень интересные у вас песни, и есть такие сборники, в которых их печатают. Вот и я хочу записать.

— Книжки печатают? Песельники? Я видала. Ну, что ж, спрошусь у мамушки... коли пу-

стит, придем с Дашкой.

И Лизутка действительно в первое же воскресенье пришла с Дашкой на хутор. В этот день Марья Павловна была как-то особенно возбуждена и все поглядывала в окно, из которого виднелась дорога в Лутошки.

— Что ты волнуешься, Marie, — спрашивал Сергей Петрович, — и почему тебе пришла охота нарядиться сегодня в русский костюм?

— Гостей жду... Ты не угадываешь? Ах, какие любопытные гости!

— Не понимаю.

Она взяла его под руку и провела в маленькую комнату около своего будуара. Там Сергей Петрович увидел большие перемены: на зеркале было повешено расшитое полотенце; вместо унесенных низких кресел стояли белые скамейки из кухни; на столе, покрытом скатертью с красными петухами, лежали простые конфеты-леденцы, мятные пряники, помещался чайный прибор, заимствованный у прислуги. Ковра тоже не было в комнате.

— Решительно ничего не понимаю, — сказал Сергей Петрович.

— Жду к себе знакомых из деревни... хочу

сближаться, — ответила Марья Павловна, застенчиво и счастливо улыбаясь.

— Лизавету? — догадался Сергей Петрович.

— Да, и ее подругу Дашу.

Сергей Петрович засмеялся.

— И ты думаешь, вы поймете друг друга?

— Отчего же? Разве они не люди?

— Люди-то люди, но мне всегда казалось, что они гораздо лучше понимают нас, когда мы не выходим из нашей роли.

— То есть как?

— Да так, что не нужно заигрывать перед ними. Вот ты русский костюм одела, зачем-то ковер приказала убрать, табуретки эти... Я бы, напротив, или принял бы их в передней, или на креслах посадил. Смотри — Федор: я знаю, он меня любит и доверяет мне, а смотри: я, если и посажу его, так у дверей. А между тем он меня любит.

— Но ты должен же уважать человеческое достоинство!

— Так тогда зачем же убрала кресла? Вообще не нам спускаться до них, а их подымать.

— Но ведь подымать в смысле образования, а не в смысле кресел и ковров. — Это,

впрочем, не важно, — с нетерпением возразила Марья Павловна. — Я для того и сама оделась и здесь прибрала попроще, чтобы не сконфузить их.

— Но о чем же ты будешь разговаривать с ними? Ведь это мучительно с ними говорить! Понятия до того узки, язык до того беден, что просто слов не найдешь с ними.

— Поищу как-нибудь... Но, знаешь, какая прелесть эта Лиза! Мне ужасно хотелось бы с ней сойтись. Такая она естественная, такая простая.

— Попробуй, попробуй, — снисходительно усмехаясь, сказал Сергей Петрович. — Я так думаю, что у ней обычные качества деревенской девки: невероятная жеманность и невероятная дикость.

— Но как же ты можешь так говорить о крестьянке? Значит, по-твоему, Некрасов сочинил свою Дарью или Катерину в *Коробейниках* или Матрену Тимофеевну в *Кому на Руси жить хорошо*? И наконец, как же ты так отзываешься о деревенских людях, когда сам же всегда ратовал за деревню?

— О, милая моя народолюбка! Конечно

Некрасов дал нам перлы, конечно... Но оправа, оправа нужна! — И, любуясь ее взволнованным лицом, он добавил: — Катерина — перл, а вот женушка моя — бриллиант в золотой оправе... О прелесть моя! — Он хотел привлечь к себе Марью Павловну и уже протянул было руки, чтобы обнять ее, но в это время появилась горничная и доложила, что «пришли лутошкинские девки».

— Просите, просите их сюда, — торопливо сказала Марья Павловна. — Serge, пожалуйста, уйди, пожалуйста! — И она вытолкнула его за двери.

Девки вошли, громко стуча новыми котами, шурша лощеным ситцем своих рубашек, блестя лакированными поясами и бусами, — вошли, пересмеиваясь и подталкивая друг друга, и в замешательстве остановились у дверей.

— Здравствуйте, милые мои гости! — бросилась к ним, красная как кумач, Марья Павловна и, подумав мгновенно, что ей теперь делать, обняла первую девку, не разобрав даже, Лизутка это или Дарья, и поцеловала ее куда-то в верхнюю часть лица; с другою дело

обошлось благополучнее: она поцеловала ее прямо в губы.

— Ну, что, вы пришли? Вот и отлично. Я очень рада, — бормотала она, без нужды переставляя скамейки. — Садитесь пожалуйста, Лиза, садитесь, Даша!

— Да мы постоим: ноги-то у нас не наемные, — сказала Дашка.

— Ах, как это можно! Разве гости стоят? Пожалуйста, пожалуйста!

— Иди, что ль! — прошептала Лизутка, легонько подталкивая Дашку.

Та с напускною развязностью прошла к скамейке и решительно села на нее, манерно сложив руки на коленях; Лизутка поместилась рядом.

— Дайте нам самовар скорей, пожалуйста! — закричала Марья Павловна, бросаясь к дверям. — Ведь вы, конечно, покушаете у меня чаю?.. Вот, не угодно ли конфет, печенья... Пожалуйста!

— Чего это вы заботитесь-то об нас? Такие ль мы гостя!

— Ах, нет, зачем вы это говорите?.. Я ужасно рада и благодарна вам, что вы пришли.

— Мы вот загрязним у вас, — ишь на нас обряда-то какая...

— Залетели вороны в высокие хоромы! — со смехом выговорила Лизутка.

— Кушайте, кушайте! — лепетала Марья Павловна, смущенная неприятным для нее направлением разговора, и, обращаясь к Лизутке, спросила: — Что, теперь легче вам? Деревенская страда уже кончается?

— Чего это? Чтой-то мне, барыня, невдомек...

— Вы, я хочу сказать, теперь уже кончили свою работу?

— Какая же ноне работа? Ноне праздник.

— Мы по праздникам жир нагуливаем, — подхватила Дашка. — Кабы не праздники, никакой бы лошади не хватило на нашу работу.

— Нет, я хочу сказать, жнитво уже кончилось у вас?

— Кабыть скоро. Вот на вашей земле пшеницу кончали. Теперь на своей полоске осталась, да говорил батюшка, овес поспевает, с среды будем овес жать.

— Уж наше дело такое мужицкое, — вмешалась Дашка, протягивая руку к пряни-



кам. — Перевернешься — бьют, и не довернешься — бьют.

— Как бьют? — в недоумении спросила Марья Павловна.

— А как же? Хлеб не родится — тяжело, и урожаю господь пошлет — тяжело. Ныне летом-то смоталась совсем! Лизутке-то что? Ей-ный отец татар еще нанимает на жнитво, а у нас все сами, все сами.

— Ох, девка, зато и хлопот с этими татарами: вот на хлеб-то они привередливы, — нука, испеки ему неудачливо: залопочет...

Принесли самовар, и хозяйка стала угощать своих гостей чаем. Но тут ей опять пришлось перенести много трудного. Выпивая свои чашки, девки каждый раз опрокидывали их и в один голос благодарили за угощение, — приходилось убеждать и упрашивать без конца. Таким образом, все-таки они выпили втроем почти весь самовар и очутились все в поту: гости — от множества горячего чая, хозяйка — от непрерывного волнения и от старания, с которым приискивала в своей голове подходящие слова для разговора. И странное дело, Лизутка гораздо более нрави-

лась ей там, в поле, простоволосая, в рубаше из грубого холста, в поддверганной юбке, нежели здесь, покрытая шелковым платочком ярко-зеленого цвета, в своей шумящей от каждого движения рубаше, подпоясанная лакированным поясом и в шерстяной малиновой юбке. «Зачем она мне стала „вы“ говорить? — думала Марья Павловна в промежутках напряженного и медлительного разговора. — Ведь как выходило у ней просто и мило это слово „ты“... И лицо было гораздо, гораздо умнее и симпатичнее!» После чая она попросила их спеть что-нибудь; но с пеньем дело пошло еще труднее, чем с чаепитием: уж очень церемонились и робели девки. Они перешептывались, смеялись, закрываясь платочками, мигали друг другу, и уж долго спустя Дашка решилась первая. Невероятно тонким и пискливым голосом она затянула и таким же невероятно пискливым голосом подхватила Лизутка. Марье Павловне даже стыдно стало от фальшивых и смешных для нее звуков песни. То, что до сих пор слышала она, — и в памятную для нее ночь провожания Сергея Петровича, и в другое время, —

глубоко ей нравилось и почти всегда хорошо волновало ее душу; но она никогда не слыжала деревенской песни так близко... И, — боже мой! — что это была за песня! Ей попадались народные песни в хрестоматиях; кроме того, она восторгалась в свое время песней «Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка» в пушкинской *Капитанской дочке*; но у ней не подымалась рука записывать такую смешную и дикую чепуху, которую пели или, правильней сказать, визжали девки. Они пели:

*...Всем начальникам —  
Москва честь-хвала,  
Да разоренная Москва до конца, —  
Разорил Москву франец Палиён,  
Да Палиёщик парень молодой, —  
Нет заботушки за ним никакой...  
Да только есть одна — Саша с  
Машей,  
Да белалицаи и круглалицаи —  
Лицо бело-набеленое, щечки алы-  
нарумянены...  
Из конца в конец всю Москву про-  
шли,  
Краше Саши своей нико-то не  
нашли!*

После этой песни Марья Павловна и упрашивать их перестала: она была совершенно обескуражена. На прощанье девки рассыпались в благодарностях за угощенье.

— К нам в гости милости просим, — говорили они, перебивая друг друга, — уж мы так-то рады будем... Мы и то говорим промеж себя: то-то барыня у нас простая!.. Что приветлива, что ласкова... Не токмо что гордится аль чваниться, а никакого благородства в ней нету...

— Как нет благородства? — вспыхнув, воскликнула Марья Павловна.

Но из дальнейшего увидала, что девки под «благородством» понимают «барство», и успокоилась. То есть она успокоилась в значении этого одного слова, но все-то в совокупности произвело на нее впечатление живейшей досады и тоски. Стыдясь показаться на глаза Сергею Петровичу и своей прислуге, она заперлась у себя и пластом пролежала до вечера.

Ей досадно было на свою «глупость», на смешное и нелепое «сближение с народом», досадно было на Лизутку, на Дарью за то, что

они были так безвкусно одеты, выбрали такую дикую песню и спели ее такими дикими голосами, и больше всего за то, что ей было с ними очень неловко и отяготительно. Вечером, выйдя из своей комнаты и увидав в маленькой комнате около будуара все те же скамейки из кухни, то же расшитое полотенце на зеркале и на столе скатерть с красными петухами по углам, она ужасно рассердилась на прислугу и сделала ей строжайший выговор.

Между тем девки остались довольны своим посещением. Правда, вышли они из дома покрасневшиеся и распаренные и долго вздыхали, отирая платочками свои полные лица, но все-таки им было очень весело. По дороге, в лощинке, их догнал Федор, и они со смехом и с увлечением стали рассказывать ему все подробности.

— Вот уж, Федюшка, сердце-то во мне упало, — говорила Дашка. — Как вошли это мы: так и блестит в глазах, так и блестит... Да на грех-то я глядь на стену, а со стены-то другая Дашка смотрит... Ах, чтоб тебя, думаю! А Лизутка-то, оглашенная, толкает меня, а Лизут-

ка-то толкает...

— Как же тебя, идола, не толкать? — с хохотом сказала Лизутка. — Барыня лебезит, а она уперлась как ступа какая.

— Ну, а что барыня, как? — осведомился Федор.

— Чу-у-дная!.. Мы как вошли, она как облапит меня да чмок над бровью! Уморушки!.. Такая-то суета, такая-то лебезиха... И на месте не посидит: сидит-сидит, да словно иголки в нее, и-и замечется!

— Она — ничего, простая, — сказала Лизутка, — все угощала нас. Жамками угощала. Хочешь?

И они все трое принялись есть пряники и хрустеть леденцами.

— А одежда-то на ней и-их хороша!

— Словно по-нашенски! Бусы-то на ней, Дашка...

— И не говори, девушка... Я как гляну-гляну, — ах, хороши бусы! А вот песня-то, знать, не показалась ей: и записывать не стала... А уж мы ли не старались?.. Я, как заведу, заведу, — эх, думаю, была не была!

— А я что, Дарьюшка, — я, как ты взяла го-

лосом-то, я и подумай: ну-ка барин разгнева-  
ется, ну-ка заругается на нас... Вот, скажет,  
пришли, глотки разинули!

— А мне чего барин? Кабы я сама...

— Песни-то у вас куда плохи! — сказал раз-  
веселившийся Федор. — И что у вас, у девок,  
за модель плохие песни играть? Кабы она ме-  
ня заставила, я бы ей сыграл.

— Ну, уж ты, бахвал!

— Чего? Я-то? А ну-ка... — И Федор, подхва-  
тив под руки девок, затянул высоким и силь-  
ным голосом:

*Не былинушка во чистом поле за-  
шаталася,  
Зашатался, загулялся удал доб-  
рый молодец.  
Пришатнулся, прикачнулся он ко  
синю морю,  
Он воскликнул же, возгаркнул  
громким голосом,  
Еще есть ли на синем море пере-  
возчички...*

«Эх-их, перевозчички да рыболовщички,  
добры молодцы! Перевезите-ка меня, братцы,  
на свою-то сторону...» — подхватили девки, и

в ответ песне грянуло эхо за лесом, и побежал по широкому простору полей протяжный гул, медлительно и печально замирая вдали.

Только по окончании жнитва пришло письмо из нижегородской деревни. В нем содержался решительный отказ Федору. Выслушав от Сергея Петровича это письмо, Федор понурил голову и ничего не сказал, но зато вышел из дома темнее ночи. Господа же были вне себя от негодования. Марья Павловна хотя и не делала уже новых попыток к сближению с Лизуткой и не шла к ней в гости, но все-таки относилась к ее судьбе с живейшим участием. Сергей Петрович метал громы.

— Вот твои перлы! — кричал он. — Загубить счастье человека, надругаться над святынею его души — над любовью к женщине, это они могут всегда!.. Что теперь делать?.. Ведь как я писал, если б ты знала: камень бы расчувствовался... Кажется, все струны задевал... и могу похвалиться, что у меня превосходно вышло... Нет, это чертовски, чертовски возмутительно! Я просто боюсь за Федора. Я бы на его месте, конечно, наплевал на все эти запреты, но ведь у них рутина, традиции...



— Ах, Serge, за Федора действительно страшно! — встревожилась Марья Павловна, — смотри: он ни слова не сказал, но вид у него положительно трагический. Я даже думаю, не присматривать ли за ним... И пойди, сейчас же, сейчас же пойди, посмотри, что с ним!..

Сергей Петрович поспешил выйти, но, скоро возвратившись, сказал с некоторым разочарованием, что Федор, как ни в чем не бывало, строгает доски. Марья Павловна, однако, не успокоилась.

— О, это ведь такие глубокие натуры, Serge! Помнишь, Бирюк у Тургенева или этот плотник у Писемского? Тоже плотник!.. И я положительно убеждена, что с Федором что-нибудь будет в таком же роде... Знаешь, Serge, это наша обязанность помочь ему. Мы ведь понимаем безобразие этого явления и необходимо, необходимо должны что-нибудь сделать.

— Но что же мы можем?

— Ах, я не знаю что, но это необходимо. Ну, поговори с ним, — ведь ты умеешь с *ним* говорить, — убеди его наконец, что это безнрав-

ственно приносить в жертву жестокому отцовскому произволу свое и Лизино счастье. Надо действовать на его сердце... Невозможно же игнорировать такие явления.

— Я, пожалуй, позову его, но вряд ли...

Сергей Петрович опять позвал Федора и опять принялся его убеждать жениться без разрешения отца. Он много потратил слов и аргументов, затрагивал, как ему казалось, все струны, которые только подозревал у Федора, но Федор с тем же угрюмым и странно-равнодушным лицом повторял одно:

— Без родительского благословения никак невозможно, Сергей Петрович.

— Но поймите вы, что это безнравственно, что вы губите и себя и Лизу! — не выдержав, закричала Марья Павловна.

Федор исподлобья взглянул на нее и ни слова не ответил. Тогда принуждены были отпустить его и снова стали совещаться, как быть. Вдруг в голове Сергея Петровича сверкнул счастливый и великодушный план.

— Знаешь что, Marie? Мы, кажется, отлично это устроим, — сказал он, — мы вот как устроим: есть у меня в Ягодном двадцать од-

на десятина чересполосной земли; я продаю ее Федору и пусть вся его семья переселяется сюда. Возьму с него... ну, тридцать рублей за десятину возьму, и пускай их переселяются... А? Как думаешь?.. Деньги можно рассрочить... ну, хоть на пять лет... а?

Марья Павловна пришла в неописанный восторг.

— Милый мой! Как это ты просто и славно придумал, — говорила она, бросаясь ему на шею, и, немного успокоившись, продолжала: — И смотри, Serge, когда мы думали поправить дело чем-нибудь посторонним, у нас ничего не выходило; но чуть только явилась на сцену жертва — все выходит прекрасно. О, я именно всегда так думала!.. Ведь ты, конечно, приносишь жертву, продавая эту землю, и, признайся, она стоит вовсе не тридцать рублей?

— Как тебе сказать?.. Рублей шестьдесят-то, наверное, стоит... Да, именно шестьдесят. Я-то, собственно, заплатил тридцать, но теперь удивительно быстро поднимаются цены. Именно, именно шестьдесят рублей стоит земля.

— Ну, так вот что, милый, — сказала она, положив ему руку на плечо и вся озаряясь умиленною улыбкой, — надо доводить дело до конца: ты уступаешь за половину цены, я же... я плачу тебе из своих денег... я хочу подарить Федору эту землю.

— Но зачем же, Marie... И притом ты знаешь, филантропия...

— Тсс... ни слова! Мы так счастливы... так все хорошо... Ну, одним словом, я хочу сделать счастье другим. Пожалуйста!

И растроганные до глубины души своим обоюдным великодушием, они обнялись, любясь друг другом, и медленно целовались, забывая вспомнить о Федоре и Лизутке. Однако вспомнили и в третий раз послали за Федором. Он пришел на этот раз сердитый и с неприятною грубостью в голосе спросил:

— Что вам, Сергей Петрович? Мне недосуг: надо косяк прилаживать.

— Вот тебе барыня объявит, — сказал улыбающийся Сергей Петрович, лукаво посмотрев на Марию Павловну.

— Нет, нет! Сергей Петрович скажет вам! — вскрикнула она и стремительно выбе-

жала из комнаты.

Тогда Сергей Петрович, стараясь изгнать из тона своего голоса всякую горделивость своим поступком, объяснил Федору, в чем дело.

— Итак, в Ягодном, Федор, — заключил он, — земля там прекрасная, есть вода, лесок... Пусть их переселяются. А Марья Павловна дарит тебе эту землю. Я, собственно, хотел взять половинную цену — тридцать рублей; не правда ли, что это очень дешево, Федор? И притом, я еще хотел на пять лет рассрочить уплату... ведь это, согласишься, было бы очень хорошо, Федор, для тебя и для твоего отца? Марья Павловна так добра, что дарит тебе эту землю... а? Как думаешь? Я думаю, это так прекрасно для тебя, что я, пожалуй, завтра же поеду к Ивану Петрову сватом... а? Как думаешь?

— Это как же, Сергей Петрович, в вечность али как? — недоумевая, спросил Федор.

— Ну, да, да, в самую полную вечность. Ты можешь ее заложить, передать по наследству детям. Одним словом, как хочешь. В полное твое распоряжение.

Федор подумал и сказал:

— На этом благодарны... Вечно будем бога за вас молить.

— Так как же, ехать сватом?

— Уж и не знаю... Значит теперь чтобы старик переселился сюда, в Ягодное?

— Да, да, непременно. С тем только и земля дается.

— Уж и не знаю...

— Да чего же ты не знаешь, чудак? Ведь даровая земля, пойми ты это, с водою, с лесом... Что же ты не знаешь?

— Господи, аль я ворог какой себе?.. Я бы радостью рад... Вот родитель-то как вздумает!

— Не дурак же он, твой родитель! Живете там черт знает на каких болотах и вдруг — даровая земля, чернозем!

— Это уж что говорить... вечно бога молить за вас и за барыню. Только вот пчелка у него там, садишко...

— Ну, извини, Федор, это черт знает что такое! Пойми ты, что двадцать одна десятая чернозема!

— Как не понять... мы вам по гроб жизни... А все ж таки письмо бы, Сергей Петрович, ро-

дителю...

— Отлично. Мы, значит, будем с тобой переписываться, по месяцу ответа ждать, а Лизу тем временем и просватают за другого. Превосходно, Федор!

Федор тяжело вздохнул и покрутил головой.

— Так как же? — Сергей Петрович в раздражении закурил папиросу и принялся большими шагами измерять комнату. — Ну? — спросил он, останавливаясь и сердито взглядывая на молчаливого Федора.

— И ума не приложу, Сергей Петрович.

— Ты пойми, пожалуйста, вот какую вещь. Ну, теперь не позволяет тебе старик жениться — у него еще могут быть резоны; тем более отпустить тебя в зятя: ты один работник, можешь не высылать денег и тому подобное. Но у него совершенно нет резонов отказываться от превосходной даровой земли... Ты скажи, так ли я говорю?

— Это верно, что он опасается.

— Если же он переселится, ведь никаких не будет тогда опасений? Ну, скажи: никаких? Ведь ты будешь с ним жить, не так ли?

— Ужели же не с ним!.. Мы бы тут зажили

вот как!.. И садик можно развесть, и пчел, и огородец бы завели... Только бы и заботы — бога молить за вас да за барыню.

— Вот видишь ли. Теперь, если мы будем снова писать ему об этом, посуди сам: он промедлит с ответом месяц, вот тебе уж сентябрь на дворе. А Иван Петров ждать ведь не станет!

— Чего уж ждать! — с внезапным оживлением заговорил Федор. — Кабы не это дело, он прямо бы за Мишаньку Арефьева ее просватал. Теперь узнает — того гляди, пропьет за Мишаньку.

— Может, Лиза за него не пойдет, будет тебя дожидаться?

— Да ведь кто ее... Малого тоже хаять не приходится,

— Черт знает, какая у вас такая любовь странная!.. Ну, ты, однако, думай.

— Вот что, Сергей Петрович, — решительно сказал Федор, — сколько письму идти, ежели без замешки?

— Как? Туда и обратно? Дней семь, восемь.

— Ну, прошу я вас: пишите письмо. И как вы сделали нам такую милость, — вечно бу-



дем бога молить за вас и за барыню, — то пропишите об земле и какие на ей угодья... Пуще всего насчет сада пропишите, что возможно сад развесть, — старичок-то редкостный охотник!.. И одно, ради Христа, прошу я их переселяться. Ежели батюшке покажется, пусть в ту же пору отпишет... Арефьевы-то тянуть не станут!.. А я, как есть их сын, посылаю земной поклон и прошу родительского благословения... И матушке пишете, что, мол, слезно просит Федор... и насчет воды пропишите, что, мол, прудок... для уток, мол, способно... и прошу благословения навеки нерушимые. А сестре надо одно написать — пусть чтоб не смущала... и вы так еще напишите, — они, бабы, до этого завистливы, — грибов, мол, сколько хочешь и притом — ягоды. А насчет ребят пускай не сомневается... и Христом богом прошу, чтобы родителей в беспокойство не вводила.

— Грамотный твой отец? Нет? Ну, если он под рукой писаря не найдет и поэтому не скоро ответит? А мы с тобой будем ждать?

— Эх, была не была! — подумав, сказал Федор. — Ежели через семь дён ответа не будет

и ежели такая милость ваша — соглашаетесь быть сватом (он низко поклонился), прошу я вас переговорить об эфтом деле. Как от даровой земли отказаться? Аль она на дороге валяется?.. Люди бьются-бьются из-за ней, а тут — на тебе, готовенькая!

Письмо было написано; и с тем же одушевлением, с которым расхваливал Сергей Петрович Лизу и всю ее семью в первом письме, он расхвалил и расславил свою землю в Ягодном, не забыв упомянуть о прелестном месте для сада, о грибах, о необыкновенном множестве клубники и о замечательном приволье для уток.

Федор вышел от барина в каком-то тумане. Радость боролась в нем с беспокойным раздумьем. Он почти вслух убеждал себя, что никак невозможно отказаться от даровой земли, что невидано и неслыхано отказываться от земли и что отец непременно согласится на переселение. Убеждал себя почти вслух, потому что он чувствовал, что не совсем уверен в этом, и ему нужно было заглушить свои сомнения. И особенно тревожили его эти сомнения, когда он вспоминал свое село на берегу

реки, впадающей в Волгу, избы, потонувшие в садах, вырезные коньки на тесовых кровлях, старую приходскую церковь, в расщелинах которой зеленел мох, и широкое раздолье заливных лугов, куда он, бывало, ездил в ночное.

«Ах, вряд ли согласится бабушка!.. — шептал он, ворочаясь ночью на своем тоненьком войлоке, и долго спустя прибавил: — А может, господь даст?..» И не было в нем полной радости, когда он останавливался на последней мысли, и не было полной печали, когда останавливался на первой.

## VII

Через семь дней ответа на письмо не получилось, и Сергей Петрович объявил Федору, что едет сватать. Федор согласился на это без особой решимости; даже, как показалось Сергею Петровичу, с необыкновенною вялостью и безучастием. Но Сергей Петрович и Марья Павловна настолько были увлечены новою для них процедурой сватовства и настолько были уверены, что «делают счастье» Федора, что не обратили никакого внимания на его настроение, разве что немножечко подсадовали. Гораздо более их занимал вопрос, как ехать Сергею Петровичу: парадно ли или просто, — и после долгих разговоров с ссылкой на «литературу предмета» решили, что парадно, но «не выходя из своей роли». Запрягли тройку лошадей в наборную сбрую; Сергей Петрович оделся, как одевался для визитов; кучер натянул плисовую безрукавку, надел шляпу с павлиньим пером и голубую рубаху, и Сергей Петрович торжественно пустился в путь, сопровождаемый пожеланиями Марьи Павловны, любопытными взглядами плотни-

ков и всей дворни. Один Федор не вышел проводить барина и даже не поглядел на сборы сосредоточенно и серьезно он делал давно обещанный валец кухарке Матрене.

Был праздник, и народ, гулявший по улицам деревни, немало изумился, когда звенящая и сверкающая наборною сбруей тройка Сергея Петровича остановилась около избы Ивана Петрова. Весть о сватовстве быстро, однако же, обежала улицу, и толпы ребят, девки, бабы двинулись к избе Ивана Петрова. Когда тройка подъехала к избе, Иван Петров сидел на завалинке рядом с маленьким седеньким старичком, Степаном Арефьевым из Лоскова.

— Я к тебе в гости, Иван, — сказал Сергей Петрович, выпрыгивая из коляски и быстро подходя к мужикам.

Его уже начинала смущать многолюдная улица и особенно ребята, с шумом бегущие к избе. Мужики встали, приподняли шляпы, Сергей Петрович тому и другому неловко сунул руку. В избе хлопнуло окошечко, на мгновение показалось в нем лицо Лизутки, затем слышались ее торопливо удаляющиеся ша-

ги и резкий стук двери.

— Вот, кум, до каких времен дожили, — сказал усмехаясь Степан Арефьев, — बारे к мужикам стали в гости ездить.

— Отчего же не ездить? — спросил, косясь на него, Сергей Петрович. — Мы соседи.

— Это что говорить: знамо, суседи!.. Кум-то, може, не помнит, а я-то помню еще: хоро-о-ший сусед жил около нас...

— Кто старое помянет, тому глаз вон. Ты ведь знаешь это?

— Как не знать! Да я разве колю тебя? Я ведь так, к слову пришлось. Я насчет того — बारे-то ноне обходительны. Вот у Кочетковских такой-то недавно проявился... То-то обходителен, то-то ласков; а к чему дело довелось: двести десятин лесу оттягал! А то давай бог, давай бог!.. Ну, я пойду, кум Иван! Наша компания, видно, тебе не под стать. Пойду, може, как-нибудь тройку с бубенцами подберу... Хе, хе!

— Да ты будет язвить-то, Степан Савельич, — сказал Иван Петров. — Чего подковы-то подводишь? У нас гости все равны. Иди-ка в избу.

Но Арефьев торопливо раскланялся и мелкими шажками пошел к плетню, около которого была привязана его лошадь.

— Экая заноза этот кум Степан, — проговорил Иван Петров, — уцепился в человека точно зубом! — И он весело и насмешливо посмотрел на Сергея Петровича. — Ну, что ж, Сергей Петрович, коли в гости — просим милости в избу. Мы гостям рады... Чего не видали, пострелята! — сердито огрызнулся он на ребят, присыпавших к избе.

В избе, кроме Митревны, сидевшей поджюнившись около печки, никого не было. Но стол был покрыт чистою скатертью, на нем лежала коврига пшеничного хлеба и стоял штоф водки с зеленоватым стаканчиком. Митревна, не отымая ладони от щеки, медленно встала, низко поклонилась Сергею Петровичу и на тихие слова мужа тотчас же вышла, принесла нарезанную ветчину на деревянной тарелке, с поклоном поставила ее против Сергея Петровича и снова уселась около печки.

— Ну, что ж, Сергей Петрович, выпей с до-  
рожки-то!

Иван Петров налил стакан и, поднявшись с места, поднес его гостю. Сергей Петрович взял стакан и сразу вылил себе в рот, торопясь проглотить и обжигаясь. «Черт знает, какая гадость!» — подумал он, с усилием сдерживая гримасу, и тут же вспомнил, что, по обычаю, ему не следовало пить первому. «О, черт возьми!» — рассердился он на себя и вдруг ему захотелось как можно скорее отделаться.

— Я к тебе по делу, Иван Петров, — сказал он, отодвигая тарелку с ветчиной и облакачиваясь на стол. — Ты знаешь, я дарю Федору свою чересполосную землю в Ягодном.

— Так-с.

— Это очень выгодно для Федора и вообще это отлично устраивает его судьбу. Ты как думаешь?

— Наше дело сторона, Сергей Петрович. В своем добре всякий волен... А наших тут делов нету.

— Нет, ты понимаешь, что я хочу сказать? Я хочу, чтоб он женился на твоей дочери.

— Как так, чтоб женился? — нахмурившись спросил Иван.



— У нас девка, чай, не безродная какая, — оскорбленным тоном вмешалась Митревна, быстро выпрямляясь и недружелюбно взглядывая на Сергея Петровича, — у ней отец с матерью есть. Вламываться в чужие дела кабыть не пригоже.

— Но какие вы странные!.. Я вовсе не вмешиваюсь. Вы меня не поняли... Я просто сватаю за Федора.

— Помолчи, — коротко сказал Иван Петров жене и обратился к Сергею Петровичу: — У нас девка на выданье, об этом что говорить. Ты ли сватаешь, другой ли кто, — мы милости просим. Только тут не подходящее дело, Сергей Петрович.

— Чем же не подходящее?

— Малый нам неизвестен.

— Принесла откуда-то нелегкая, прости господи, из-за тридевять земель... — вступилась было Митревна.

— Помолчи, Агафья, — остановил ее Иван.

— Но как же неизвестен, когда сам же ты собирал о нем справки?

— Какие такие справки?

— Да сколько он зарабатывает, какого по-

ведения и тому подобное.

— Это я верно, что спрашивал у вашей милости. Но только отдавать за чужака мы не согласны.

— Какой же чужак? Ведь я русским языком говорю тебе, что дарю, — слышишь ли? — дарю ему землю в Ягодном.

— Что ж земля, Сергей Петрович? Землю можно продать — и поминай как звали.

— Невозможно продать. Я дарю только с тем, что он женится на Лизе и вся его семья переселится сюда.

— На этом много благодарны. Но как же теперь семейские его — согласны переселяться?

— Разумеется, согласны... Еще бы!.. То есть, собственно говоря, от них еще не получено ответа, но как же сомневаться? Ты сообрази: даровая земля, чернозем!

— Так-с... — И Иван Петров с непроницаемым выражением на лице побарабанил пальцами.

— Двадцать одна десятина! — кипятился Сергей Петрович, вскакивая с лавки. — Вода! Лес! Грибов одних сколько!

— Землю мы знаем.

— Ну, согласишься сам, как же отказываться от такой земли? Ведь это надо быть дураками, идиотами!

— А, значит, касательно переселения ответа еще не было?

— Да что тебе в ответе, Иван?.. — И, оскорбленный недоверчивостью Ивана, взволнованный ожиданием отказа и желанием спасти от неминуемого крушения свои и Марьи Павловны планы, Сергей Петрович решительно произнес: — Наконец Федор прямо заявляет, что если отец на переселение не согласится, он идет к тебе в зятя.

— А как же насчет земли? Земля, значит, останется ни при чем?

— Но ты сам желал взять его в зятя... О земле тогда речи не было! — воскликнул Сергей Петрович.

— Ежели без земли, мы и здесь женихов найдем, — сухо отвечивал Иван.

— Чтой-то ты, Петрович, в самом деле? — опять вмешалась Митревна. — Чтой-то Лизутка-то у нас... Перестарок какой?.. Гляди, с людьми сколько годов хлеб-соль водили...

Кум Степан пороги все обил. Аль неволя за первого встречного отдавать?

— Твое дело впереди, помолчи.

— И сватаются-то не по-людски, — не уни-малась Митревна. — Барское ли дело в сватах ходить?

— Хорошо, — сказал Сергей Петрович, страшно сконфуженный ядовитым замечанием Митревины и давно уже утративший необходимую трезвость мыслей под влиянием стакана отвратительной водки и отвратительной неловкости своего положения, — хорошо: если вы согласны отдать Лизу за Федора, я дарю землю... Я даже сделаю так: сделаю дарственную запись на имя Лизы, то есть хозяйкой земли будет Лиза. Но это в таком случае, если Федоров отец не согласится на переселение. Надеюсь, теперь все отлично?

Иван подумал.

— Как, Агафья, а? — спросил он.

— Что ж как? Мне замуж нейти. Спроси девку. Ноне матерей-то не больно слушаются.

— Ин, поди, спроси ее... Где Лизутка-то?

Митревна, вздыхая и бормоча какие-то неблагоклонные слова, удалилась из избы.

— Ну, сват, выпьем, что ли! — сказал развеселившийся Иван. — Девку ты у меня выхватил вот как... Из рук выхватил. И не чаял я быть ей за Федором... Ну, судьба! Недаром говорится: «Суженого-ряженого конем не объедешь». — И прибавил с легкою насмешливостью: — Да как ведь и свату-то такому отказать!

В согласии Лизутки, по-видимому, никто не сомневался; и действительно через несколько времени вошла заплаканная Митревна и объявила, что Лизутка «из родительской воли не выходит» и что Федор ей «не противен».

Сергей Петрович выехал из деревни совершенно отуманенный. Голова его была тяжела как свинец и кружилась. Во рту стоял противный вкус сивухи. За всем тем он довольно отчетливо припомнил подробности сватовства и даже струсил, что наобещал от имени Федора то, на что Федор никогда его не уполномочивал. «Невозможно же, черт возьми, чтоб отказались от даровой земли!» — утешал он сам себя, подъезжая к хутору, и в нем возникло было легкомысленное намерение скрыть от

Федора, что он должен идти «в зятя». К счастью, он вспомнил, что Иван Петров, проводя его, обмолвился такими словами: «Как-никак, а надо бы с малым переговорить... чтоб без сумления!» Приехав, он тотчас же позвал Федора и нетвердым языком сказал ему:

— Ну, поздравляю. Можешь венчаться, когда захочешь.

— Как же, Сергей Петрович, соглашаются? — спросил просиявший Федор.

— Э, брат, это история, тово... сложная история. Одним словом, землю я дарю. Или пускай переселяются, или ты идешь в зятя, и я землю дарю твоей невесте... Вот как, брат! Дарю, дарю во всяком случае.

— Как так в зятя, Сергей Петрович?! — воскликнул встревоженный Федор.

— Ну, уж, брат, в зятя! Ничего не оставалось делать. Этот твой будущий тестюшка такая, я тебе скажу, шельма... И старичишка еще язвительный вертелся тут... Как его? Арефьев, что ли?

— Да ведь невозможно, Сергей Петрович.

— Вздор, вздор. Одним словом, поздравляю. И дарю землю.

— Э-эх, братцы мои! — Федор с сокрушением почесал затылок.

— Да не откажетесь же вы от даровой земли, черт бы вас всех подрал! — с негодованием закричал Сергей Петрович.

— Так-то так...

— Ну, стало быть, нечего и разговаривать. Ступай! Хлопочешь тут за вас, стараешься...

— Я бы, вы сами знаете... — оправдывался Федор. — Я уж и не знаю, как благодарить вас, Сергей Петрович, — и, подумав мгновение, потрянул волосами и сказал: — Ну, значит, дело сделано, семь бед — один ответ... Будь по-вашему, Сергей Петрович.

Марья Павловна гуляла, когда приехал Сергей Петрович. Возвратившись и услышав, чем кончилось дело, она хохотала как безумная и была необыкновенно рада. Она теперь твердо убедилась в благополучном завершении своего великодушного плана и не могла понять, отчего Сергей Петрович все-таки беспокоился.

— Но Федор же согласился?

— Н-да, но знаешь, есть в нем какой-то червь... то есть, понимаешь ли, червяк ка-

кой-то.

— Притом это ведь в решительном случае? От земли, ты говоришь, не откажутся?

— Помилуй, даровая земля... Грибы... Утки!

— Да и я думаю: совершенно неестественная вещь крестьянину пренебречь землей. Везде такое малоземелье, и притом, ты говоришь, болото там, где они живут?

— Совершенное болото! Понимаешь ли, кочки этакие и травка, травка... Это сделано... Тпфу! Доказано статистикой... нижегородскою статистикой.

Возбужденный вид Сергея Петровича и его заплетающийся язык очень подходили к веселому настроению Марьи Павловны; целый вечер она смеялась над ним и, шаловливо путая ему прическу, повторяла:

— Сват, сват!.. Настоящий сват!

Весь август, а затем и половина сентября прошли, а между тем Федору не приходило ответа. Насчет свадьбы все было решено, обо всем Иван Петров переговорил с Федором основательно. Вместо обычного в таких случаях «пропоя» они скромно распили полштоф в кабаке. Но с Лизуткой Федор виделся уже гораз-



до реже: Митревна почти не отпускала ее от себя. Правда, по воскресеньям Лизутка, как и прежде, выходила «на улицу», но там около нее неотступно торчала меньшая сестренка и по приходе домой обо всем рассказывала матери. Ближе к осени в Лутошках пошли слухи о других свадьбах. «На улице» стали иногда «обыгрывать» женихов и невест; у иных невест собирались уж вечерки. И хотя во дворе Лизутки вечеров не собирали, а следовательно, Федор и не мог бывать на них, но ему пришлось все-таки выслушать от девок песни, с которыми провожают жениха с вечеров. Играли они ему и «Розан, мой розан, виноград зеленый», и «Вьянули ветры по полю, грянули веслы по морю», а затейница и песенница Фрося припомнила старую забытую песню: «Не разливайся ты, тихий Дунай»...

Митревна все время была не в духе. Не то что ей не нравился жених, но ей все как-то не верилось, что он останется в Самаре. Затем он все-таки оставался для нее чужим человеком: и повадка, и речь его, и манеры одеваться в синюю рубаху, в «пинжак», — все ее смущало. Не знала она ни родни его, ни «породы», зная

которую можно было бы с уверенностью сказать: «У них в роду пьяниц не было», или: «Ихний и род-то весь непутевый». За Федором же стояла темнота. Кроме того, претило ей, что дело делается «не по-людскому»: свататься приезжал барин, не было «пропоя», не указал Петрович быть вечеркам, медлили для чего-то собирать «подневестниц» для шитья и, главное, — о «сговоре» ни Федор, ни Петрович не говорили ни слова. Да какой же и сговор, коли Федор один как перст здесь? Ни родни, ни знакомых. Не звать же господ на сговор, — это уж совсем «люди осудят». Митревна часто вздыхала, поглядывая на свою девку, и слезинки незаметно капали из ее глаз. И часто мысли ее обращались к Мишаньке Арефьеву: «Эдакий тихий да работающий парень! — думала она. — И чем бы не взял? То ли ростом, то ли дородством, то ли из лица не вышел?.. И все-то бы по обычаю, все-то бы не на смех людям... И род-то весь известный, и знакомство сколько годов водили, а теперь, поди, вот: просватали невесть за кого! У людей игры, вечерки, а у нас — стыда головушке! — ровно как таимся, ровно как хоронимся от людей».

— Петрович, — решила наконец она сказать, оставшись одна с мужем, — ты бы поговорил нареченному-то: негоже эдак без роденьки!

— А чем негоже?

— Да будто не по-людски. Чтой-то воровским обычаем делаем!.. У людей игры, вечерки, а у нас и про «сговор» не слышать, когда будет. Пускай бы хоть родители приехали.

— Поедут тебе киселя хлебать.

— Ну, сестра у него... Хоть бы сестра приезжала, авось ничего с ней не стряется... Зазорно эдак-то, Петрович. Уж и спрашивают, спрашивают, а я и сказать не знаю что. Живем на миру, хорониться-то словно бы нехорошо. Пра, поговори.

Иван Петров про себя согласился с женой и при первом же случае «поговорил» с Федором.

— Это мы живым манером оборудуем! — нимало не задумываясь, ответил Федор и, не смущаясь тем, что еще не получил ответа о «даровой земле», попросил господ написать новое письмо, где приглашал к себе «на сговор» и на свадьбу родителей и сестру и послал для этого двадцать рублей денег.

Вообще с самого времени сватовства мысли Федора заметно изменились иди, правильнее сказать, изменилось его настроение. Он почувствовал в себе какую-то свободу, смелость, и чем дольше не приходило ответа, чем меньше становилось надежды на родительское согласие, тем свободнее и смелее делалось его настроение. Бесповоротно решенное без его участия дело о сватовстве, казалось, сразу уничтожило его зависимость от нижегородской деревни, порвало его связи с нею и вместе с тем вознесло на большую высоту его помыслы о личной своей судьбе. Даже господа заметили, что Федор стал каким-то легкомысленным. Это проявлялось и в мелочах: прежде, разговаривая с Сергеем Петровичем о постройке, Федор стойко и дельно высказывал свое мнение и-решительно всегда заставлял Сергея Петровича соглашаться с собой. Теперь, напротив, стоило Сергею Петровичу выразить свои взгляды, и Федор поспешно соглашался с ними. Очень часто от этого быстрого соглашения по постройке происходила нелепица. И тогда Сергей Петрович сердился и на себя, и на Федора. Федор же по-

добоострастно извинялся и с преувеличенной готовностью исправлял нелепицу. Сергей Петрович находил, что Федор удивительно изменился к лучшему, и если он кажется немного легкомысленным, то лишь оттого, что стал кротче, мягче, уступчивее. «Вот в чем сказывается благотворное культурное влияние женщины!» — говорил Сергей Петрович. Марья Павловна не соглашалась. Она откровенно говорила, что Федор казался ей гораздо, гораздо умнее и самостоятельнее, но прибавляла к тому, что, конечно, это все пройдет, потому что ясно как день, что страстная любовь к Лизе сделала его таким. «Ему теперь ни до чего нет дела, кроме любви, заполонившей все его чуткое, отзывчивое существо!» — говорила Марья Павловна.

С хлебом почти убрались. Бесчисленные «шкурды» пестрили господские и купеческие поля. Около деревень день ото дня вырастали островерхие клади. На гумнах и на выгонах лошади топтали снопы, как, вероятно, топтали они их во времена Геродота. В версте от хутора с утра до ночи торжественно гудела и лязгала поршнем паровая молотилка. К Волге

тянулись обозы с рожью и пшеницей. На пристанях кипела работа, без конца сновал оборванный, опухший, отчаянный люд с кулями за спиною. Караваны барок нагружались и уходили вверх по Волге, и далеко разносился по ее берегам непрерывный утрюмый рев буксирных пароходов. Воздух прояснялся все больше; по утрам стояли чувствительные холода, и леса багровели, желтели, роняли лист.

## VIII

Марья Павловна первый раз во всю свою жизнь проводила осень в настоящей русской степной деревне. И эта осень странно и приятно раздражала ее нервы, прихотливо изменяла ее настроение. Никогда она не чувствовала себя бодрее и вместе с тем никогда не чувствовала такой сладкой грусти, такой сладкой потребности слез и меланхолического раздумья. На народе, в виду суеты рабочих на молотилке, слушая веселый скрип телег с возами пшеницы, вдыхая в себя здоровый и сытный запах хлеба, — ей было так хорошо и такой призыв к делу, к движению чувствовала она... И вдвоем с Сергеем Петровичем ей было хорошо. Но случилось, что она уходила далеко в поле, подымалась одна на возвышенности, гуляла в лесу, и тогда тихая печаль ее преследовала. Вот видела она, что равнина лежит перед нею пустынная, обнаженная, и как-то необычайно широко раздвинулись дали, зовущие к себе, уходящие без конца... И нет человека во всем пространстве. И долго, долго безмолвствует над нею прохладная

бледно-голубая высь, бывало, вся звенящая голосами певчих птиц и теплая, как чье-то близкое дыхание... Долго безмолвствует, пока в высоте, недоступной глазу, послышится звук, напоминающий отдаленный звук трубы, и протяжно, торжественно, унылыми переливами поплывет над окрестностью. Это летят журавли. И Марья Павловна долго всматривалась в сторону их однообразного «турлыканья» и замечала наконец черные точки, медленно, правильным треугольником подвигающиеся к югу... И простор обнаженных полей казался ей еще более значительным и унылым, синяя даль еще неотступнее звала к себе.

Леса были красивы в пестром разнообразии своей листвы. Березы походили на янтарь; липы оделись багровым цветом; дуб был точно из старой, потускневшей бронзы... Но запах увядания, запах тлеющих листьев, подобный запаху вина, странная разреженность внутри леса — широкие просветы там, где прежде была густая тень, придавали красивому лесу характер тихого и меланхолического прощания с жизнью.



И, однако, этот умирающий лес, этот безлюдный и бесшумный простор полей, эти широко разверстые дали влекли к себе Марию Павловну, влекли тою сладостью грусти, для которой не было у ней объяснения. Подолгу просиживала она где-нибудь на возвышенности или на опушке леса, охватив руками колени, не замечая слез, обильно текущих по лицу, безропотно отдаваясь наплыву меланхолических впечатлений. Чего ей недоставало, о чем она плакала — она сама не знала; она была счастлива; она любила жизнь и людей, среди которых жила. И все-таки тесно было ее душе; она чувствовала, что *зовет* ее куда-то. Кто зовет — она не знала. Временами ей хотелось определить это состояние безотчетной грусти. И она принималась думать. Она нарочно воображала о Дмитрии Арсеньевиче, о Коле, о своей прежней жизни. Но ведь знала же она, что прежняя ее жизнь была хуже, пошлее, бесцветнее теперешней ее жизни; что Коля приедет с братом и проживет все лето, наконец она может хоть завтра же ехать и повидать его; что Дмитрий Арсеньевич преуспевает и вообще очень благополу-

чен. Все она знала, и в этом не могла скрываться причина ее грусти. И потому еще не могла скрываться в этом причина ее грусти, что тогда не было бы в ней сладости, не вызывала бы она таких тихих, незаметно текущих слез. И не могла объяснить Марья Павловна, что с нею, что с ее душою.

Нельзя сказать, что Марья Павловна стала добрее — она и так была добра; не то что отзывчивее — она и так отличалась чрезмерною отзывчивостью, — но стала душевнее, сердечнее, мягче. Задумчивость, часто набегавшая на ее черты, придавала им особую кротость; и все-то ей хотелось сделать что-нибудь необыкновенно хорошее, и все-то ей казалось, что она накануне этого «хорошего» и живет теперь так себе, пока — живет хорошо, счастливо, но не со всею полнотою.

Раз, перед вечером, — Сергей Петрович только что на целую неделю уехал на пристань, — Марья Павловна возвращалась домой с своей обычной прогулки и, подходя к хутору, оглянулась: ее нагоняла телега. Она посторонилась с дороги, ответила на поклон мужика, правившего лошадей, и женщины,

покрытой темненьким платком, одетой в полушубок и в набойчатый синий сарафан. И лицо женщины поразило ее: такое оно было унылое, сосредоточенное, с глубокими впадинами около глаз и скорбным выражением на вдавленных, крепко сжатых губах. Около женщины сидели дети — мальчик лет семи и таких же лет девочка. Они робко и любопытно посмотрели на барыню. Телега в глазах Марьи Павловны повернула на хутор. «Кто бы это мог быть?» И Марья Павловна подумала, что женщина непременно нуждается в чем-нибудь, непременно «несчастливая». Она почти бегом поспешила к хутору. Сердце ее уже горело жалостью.

Оказалось, что это приехала с своими детьми сестра Федора. Самого Федора не было на хуторе: все плотники чинили закрома в полевом амбаре. Марья Павловна тотчас же приказала позвать женщину с детьми в кухню, накормить и напоить ее чаем. И когда уже женщина и дети поели и напились чаю, горничная Стеша, удерживая смех, вошла к Марье Павловне и сказала:

— Вот, сударыня, сюрприз Федору! Сестра-то

приехамши отговаривать его.

— Как отговаривать?

— Да не согласны на свадьбу. Тут сидит, слезы утирает!..

— Что же это они, с ума там сошли?

— Известно, деревенщина. Я и то убеждаю ее: вот, говорю, какие вы бессовестные, господа беспокоятся из-за вас, хлопочут... Он, говорит, тогда не кормилец нам, то есть, что будто бы он откажется вспомогать в их бедности.

— Вздор какой-то. Позовите ее, пожалуйста, ко мне.

И, волнуясь, Марья Павловна прошла в маленькую комнатку около будуара. Несколько спустя туда несмело вошла женщина, подталкивая перед собою детей, державшихся за полы ее сарафана, и низко поклонилась Марье Павловне.

— Как вас звать, голубушка?

— Афимьей, сударыня.

— Вы — сестра Федора?

— Сестрой довожусь... Вдова я; вот с сиротками своими притащилась.

— Вы, вероятно, слышали, что Федор женится? Я и муж мой, — мы очень полюбили

вашего Федора, — мы подарили ему землю, чтобы вы все переселились сюда. И муж мой даже взял на себя роль свата и ездил сватать за Федора. Девушка из прекрасной семьи и очень, очень симпатичная.

Афимья глубоко вздохнула и подперла щеку.

— Вам писали об этом?

— Как же, сударыня, писали, — печально ответила Афимья, и вдруг из ее глаз полились слезы.

Она вытерла их уголком платка, хотела еще что-то сказать, но не сказала и опять сокрушительно вздохнула.

— О чем же вы плачете? — сказала Марья Павловна, стараясь не смотреть в лицо Афимье.

— Сударыня ты моя, как не плакать-то, сударыня?.. Ведь вот они, сиротки-то, — двое их, да девчоночка еще дома осталась... Как не плакать-то? Я не токмо... Не чаяла и до места доехать... То ли уж мне, горькой, судьбинушка такая... С мужем всего пять годочков прожила — измаялась, исчахла с покойником. Только, бывало, и отдохнешь, как на лето в бурла-

ки уйдет. Какая работа стоит! И землю-то вспаши, и травки накоси, и хлебушко убери... всю-то разломит тебя, всю-то жаром-зноем спалит за лето... А я ж к тому тяжелая, дитё под сердцем колотится, — не чаешь живой быть! Но и то супротив зимы рай был. Придет зима, глядишь и накатит сокол. У людей-то мужики деньги принесут, а у моего-то ни грошика: все пропъет, все промотает на низу! Одежонку и ту разматывал. Да уж бог бы сним: когда батюшка подсобит, когда брат Федор — я и без него подушное справляла. Нет, он, бывалоче, не уймется этим, примется бить, бить... То ли я жена ему была плохая, то ли гуляла — по трактирам, как иные бабы, шаталась!.. Да и какое гулянье? Иссохла вся от кручины, щепка-щепкой сделалась... Все-то он рвет, все-то он мечет, бывало. Давай денег в кабак! Давай денег на одежду хорошую! А где же я ему достану?.. Прибегу так-то к родителю: вся-то изодранная, лицо все в синяках; батюшка! ради Христа милостивого, дай на полштофа — зашибет меня погубитель-то мой... Смилоствивится батюшка, даст, — заткну ему глотку. Мало того, попутал его

грех — с чужими стал вожжаться. Ты, говоришь, что ни год, то с брюхом... Господи батюшка! Аль мне в радость рожать-то их... Аль мне легко? Выйдешь в косовицу, возьмешь его, грудного, в зыбке, — лежит, миляга, кручинится. Иной раз ряд целый пройдешь, а он-то надрывается без груди, он-то надрывается. А какие тут груди? Спинушку-то разломит, в глазах темненько станет, и не чаешь ряда дойти — ноженки подламываются. Глянешь на него, — вот Максимушка у меня тогда был, старшенький (она любовно погладила мальчугана), — глянешь, а он закатился, осип с крику... Личишко-то все в волдырях, жарынь, солнышко... Господи, думаешь, прибрал бы ты его, да и меня с ним, горюшу. Ох, как мне не плакать-то, сударыня?

Марья Павловна сидела безмолвно, теперь уже не сводя глаз с Афимьи, боясь заговорить, чтоб не прорвались кипевшие у нее в груди слезы. Афимья помолчала, высморкалась, вытерла глаза и опять заговорила:

— Думала я так-то: есть ли на свете горе пуще меня горькой, есть ли такая кручина?.. Уйдет, бывало, мой-то на всю ночь, останусь

одна в избе, студено у нас — на улице вьюга подымется, так-то бьет в стены, так-то гудит... Ай, думаю, и несчастная я на свет родилась!.. Разгадаю так-то мыслями: что бы мне подеять с собой, что бы мне придумать?.. Побежала бы к родимой матушке — заказывает мой-то, враждует с ними, да и далеко — на другом конце живут, а тут дитёнок в зыбке, другой на лавке спит. Сидишь, сидишь, посмотришь — заря занимается, идет мой-то пьянёхонек... Раздевай! Разувай! Слушай, чего моя нога хочет! Да в морду-то ткнет, ткнет...

— Господи! — в ужасе воскликнула Марья Павловна, закрывая лицо руками.

— И-и поношается!.. Не тебе было бы, шелудивому, поношаться, подумаешь так-то... Да, что делать, терпишь, молчишь, утишаешь свое сердце. И это еще что, желанная моя, — случалось, на улицу выгонял, буянил... Бежишь, бежишь, бывало, притулишься в овине, лежишь как бы мертвая, а у самой сердечушко не на месте: кабы с пьяных глаз дитё не зашиб.

— Да как же терпеть такой ужас?

— Родимая ты моя, деться-то некуда. Иное



и покроешь от людей, ведь стыд-то непере-носный... Чем бы к соседям бежать — в овин схоронишься, все норовишь втихомолку, чтоб люди не знали.

— Что же родные-то твои смотрели? Отец-то?

— Подсоблял, подсоблял, моя милая. Без него бы, гляди, так бы я и сгинула с малыыми детушками. Да это еще что, печальница моя, горе-то было впереди! Зашибли его в драке. Сижу я так-то, сижу себе, вижу — волокнут, слышу — хрустят по снегу, шумят. Упало во мне сердце. Кинулась я, глядь — тащут в двери: голова-то в крови, виски слиплись... Света я не взидела! Плохой был муж, гуляка, а, видно, мил он мне был... И лежит он, милая моя, при смерти ровнешенько десять месяцев: голова-то зажила, да уж больно хряшки ему отбили, все-то кровью харкал. И совсем переменялся человек: такой-то стал желанный до меня, такой-то ласковый... А мне эта его ласка словно нож в сердце... Жалостливая я, сударыня моя, зла не помню... Только и помню: как вышла я за него по совету да по любви, краше света белого был он мне в же-

нихах... Ну тут-то, как зачал он помирать, зачал прощаться, кап, кап, у него, сердешного, слезинки... Ох, думаю, лучше бы бил, тиранил меня, да в живых бы остался... Вот Максимушка-то из лица в него вышел! — И она снова любовно погладила мальчика, прижимая к себе другою рукой девчонку.

— Но теперь прошло все это... Садитесь, голубушка. Теперь о чем же плакать?

— Ничего, сударыня, постоим. Ох, лебёдушка ты моя милая, видно, нашим женским слезам конца краю не видно. Известно, ваше дело господское... А он, брат-то Федор, сокрушил меня, горемычную.

— Да чем же?

— Вот жениться-то собрался. Ты посуди себе: батюшка-то стар, матушка хворая, все на ноги жалится, ноги опухают. Как помер покойник, царство небесное, батюшка-то и говорит мне: «Иди, Афимья, к нам, прокормим, бог даст», — и брат Федор говорит: «Иди»; ну, сняли с меня старики землю, пошла я к батюшке... Вот, думаю, парнишко подрастет, две-то у меня девочки, авось бог даст. И жили так-то. Брат Федор — по заработкам, мы — во-

круг дома, батрачка наймали, земельку как-нибудь справляли свою; все честь честью. У батюшки-то всего вдоволь, знамо, по крестьянскому обычаю: две коровки, лошади овцы... Мы с батраком в поле, матушка — по хозяйству, родитель садом займется, — пчельник у него, огород. Чего не хватает — брат Федор пришлет... Тут я только жисть узнала, какая такая бывает жисть. Гляжу так-то на сироточек на своих: подымайтесь, детки! Все господь батюшка милостив. Вот он, парнишко-то, малыш у меня, а тоже приобывает, сердешный: там лошадь подержит, там с бороною походит... Жили так-то, глядь — брат Федор письмо прислал: «Хочу идти в зятья». Господи ты боже мой! Аль уж я, грешная, не выстрадала перед тобой, аль уж даром весь свой век маялась?

— Но Федор отсылал бы вам заработок.

— Желанная ты моя, где же это слыхано, чтобы муж да отца на жену променял? Мы-то далеко, она-то близко; тут дети пойдут, тут семья... Где же ему об нас помнить? А тещь-то, теща?.. Так они ему и велят отсылать деньги! Ты вот рассуди, родимая моя... испужаешься!

— Но вот мы дарим вам землю, двадцать десятин...

— Слышала, слышала, золотая моя... И как за вас, благодетелей, бога молить будем! Думали мы... Батюшка-то слышать не хочет, мы с матушкой думали. Аль мы Федору-то худа желаем? Мы не токма — мы изболели за него, голубчика... Ляжешь так-то спать, всю подушку слезами обольешь. Как быть, как быть-то, болезная? Ты подумай только: родитель весь век в плотниках ходил; человек он строгий, богомольный, стала ему артель доверять... Иные подрядчики капиталы наживают, а он себе только и нажил что избу хорошую да пчельник, да скотом обзавелся мало-мальски; теперь бы успокоиться старичку, — развел он садик, и днюет и ночует там: то привьет, то окопает, то сучья обрежет да польет... За пчелками ходит, вот все Максимушка мой подсобляет дедушке... Придет праздник, он утрени, обедни не пропустит. Посуди сама, желанная, ему ли свое гнездо рушить? Знает он вашу Самару-то, поди, в плотниках ходил, везде побывал: не по душе, говорит, мне тамошний народ; там, говорит, вот какой на-

род: бог его поваля кормит... Деревня, что твоя куча навозная: ни тебе ветелочки, ни тебе садочка... Огородов настоящих и тех нет; везде-то грязь да солома... И как я, говорит, на старости лет место насиженное брошу? Вот, говорит, церква у меня в глазах, как я ее, матушку, брошу? Бывает, переселяются которые, да ведь отчего переселяются-то?.. А иные старички так с тоски и помирают на новых местах.

— Да, это действительно очень тяжело переселяться... Но пускай Федор берет землю и живет на ней с женою.

— Ох, милая ты моя! Ишь ваше дело-то господское... Вам-то со стороны, а нам-то ножом по сердцу. Где же это видано, чтобы муж да от жены да за эдакую-то даль подсоблять стал? А родитель, не дай господи, помрет, я совсем несчастная останусь. Ведь сиротки-то — вот они... Ты думаешь, сердце-то не болит по ним?.. А родитель-то! Ты думаешь, благо ему сына-то из гнезда своего отпустить?.. Легкое дело! Даль-то, матушка, страшная. Я три дня водою плыла, восемь целковых копейка в копеечку потратила, ведь ребятешки-то вот

они какие, а за них заплати. Ты подумай так-то. Мы-то, горемычные, будем там биться, старый да малый да убогий, а здесь тесть, теща, родня, жена... Братец-то Федор куда какой жалостливый; уж если он сохнет по девке, то уж она его окружит, обовьет.

— Нет, Лиза совершенно не такая, как вы, может быть, думаете.

— Да я разве корю ее? Сударыня моя, я бы на ее месте повиликой обвилась вокруг мужа. Я ее не корю, а только братец-то не кормилец нам, мы-то сиротами останемся.

— Но если он не женится на Лизе, я не знаю, что с ним делается.

— И-и, родная ты моя... Знамо, дело-то ваше господское... Мало ли девок? Да ты посмотри, у нас в праздник соберутся, иная королева-королевой. А известно, замстило ему, вошло ему в сердце, вот и кажется, что лучше этой нету.

— Но что же делать? — воскликнула глубоко растроганная Марья Павловна. — В зятья идти нельзя, переселяться нельзя, туда к вам не отдадут...

— Как можно отдать на чужую сторону!

— Что же делать?

— Одно, сударыня, — молить братца Федора: смилуйся, братец Федор, над сиротами, пожалей свою кровь родную... Затем и приехала, и сироток вот привезла с собой, авось размякнет его сердечушко, — сказала Афимья упавшим голосом и, вдруг быстро подвинувшись, бросилась на колени перед Марьей Павловной. — Желанная ты моя! Ласточка ты моя сизокрылая! — заголосила она. — Не давай ты ему землю... Не смущайте вы его землю!.. Пожалей ты сирот горьких!.. И куда же мне теперь, горькой горюшечке, приклониться, к какому мне бережечку прислониться?.. Детушки мои, родимые, падайте вы в ноги милостивой барыне!.. Несмышленушки мои!.. Птенчики глупые!.. Али вы, детушки, беду свою не видите, не разумеете горькую свою участь?.. Находитесь вы, мои детушки милые, разумши и раздемши, и голодны и холодны... Сударыня моя! — И, охватив руками ноги Марьи Павловны, она вся подергивалась от рыданий.

Ребята подскочили к матери и плакали навзрыд, теребя ее за сарафан, за платок и кри-

ча: «Мамка! Мамка!»

Марья Павловна была потрясена до глубины души. Она растерянно протягивала руки к плачущим детям, к Афимье, гладила ее волосы, хватала ее за руки, бормотала какие-то слова, целовала ее, сама опустившись на колени, и нервически неудержимо рыдала. На шум прибежала испуганная горничная; мгновенно появились на сцену вода, нашатырный спирт, валерьяновые капли.

Афимью кое-как подняли и прогнали в людскую, а Марью Павловну увели под руки в спальню. И она долго плакала там, вздрагивая всем телом, точно от озноба, и думала. «Нет, нет, тут нет выхода... Тут ужасная, трагическая коллизия! Господи! Как мне их жалко, и как я бессильна! — И затем злобно и презрительно усмехалась на самое себя. — Жертвовательница! Благотворительница! — мысленно восклицала она. — Собралась счастье делать!.. Боже мой, какое горе я растравила и какая дерзость, какая дерзость судить с одной только стороны!»

Тем временем собрались на хутор плотники, и Федор узнав, что приехала сестра с



детьми, сразу почуял недоброе. При взгляде на заплаканное лицо Афимьи он еще более утвердился на этой мысли о недобром, и сердце его болезненно заныло. Потупив глаза, он троекратно поцеловался с сестрой, погладил ребят, вяло спросил о здоровье отца и матери. Другие плотники, бывшие из соседней с Федором деревни, очень обрадовались Афимье. Севши за ужин, они наперерыв спрашивали ее. И в ее ответах живо восстанавливался перед ними быт родной их деревни. Кому она привезла рубахи, гостинцы, кому поклоны; рассказала об урожае; о том, что наконец-то сместили старшину Аристарха; что изобильно уродилась «антоновка», что на покосе опять подрались погореловцы с васютинскими; что починили и покрасили церковную ограду. Федор, молча хлебавший молоко, вслушивался и незаметно для себя все больше и больше заинтересовывался рассказами сестры. Только в конце ужина опять сжалось его сердце. Леонтий шутя сказал:

— Что, тетка Афимья, аль на свадьбу приехала?

Афимья промолчала, и все поняли, что об

этом нельзя спрашивать. И скоро разошлись спать. Федор повел сестру с ребятами в пустой амбар, в котором стояла его кровать. И уж поздно ночью кто еще не спал на хуторе услышал оттуда женские причитанья и вопли и плач детей. Затем все стихло и все мало-помалу заснуло. Только на пороге пустого амбара можно было заметить женщину, озаренную холодным лунным светом, сидевшую сторбившись, подперев руками голову, в темненьком платочке, она сидела неподвижно, как изваяние.

Федор уложил детей на своей постели, молча дождался, когда они заснули, все еще всхлипывая во сне, и вышел из амбара.

— Куда же это ты, Федюшка? — с тревогой прошептала Афимья.

— А я пойду на сеновал: спать что-то хочется, — тихо ответил Федор и, чтоб совершенно успокоить сестру сказал — Так ты говоришь, «антоновка»-то уродилась ноне?

— И-и темная уродилась! — ответила Афимья.

Но, пропустив мимо ушей этот ответ, Федор пошел по направлению к конюшне, ми-

новал ее незаметно для сестры и скрылся за хутором. Там он сел на канаве, около леса, там он думал и вздыхал, покуривая сигарку, и когда уж месяц зашел за середину неба и время перевалило далеко за полночь, он поднялся, сказав: «Эхма, не так живи, как хочется», — и, сопровождаемый длинною косою тенью, пошел на сеновал. И, проходя, видел при свете месяца, как на пороге амбара все в той же окаменелой неподвижности, все так же склонив голову на руки, сидела Афимья.

На третий день утром Марья Павловна, все еще бледная, с синевою под глазами, вышла к чаю. Ей сказали, что пришел Федор. Вид его бы такой, как бы он пришел поговорить о самом обыкновенном; только лицо слегка осунулось, и выражение было холодное и строгое.

— Что вам, Федор? — с участием и с любопытством спросила Марья Павловна.

— Сергей Петрович когда будет с пристани?

— Да, вероятно, дня через три. А вам он нужен?

— Тут насчет земли... Земли нам не надо...

— Вы, значит, раздумали жениться?

— Жениться-то?.. Вот насчет земли я, — не надо, мол, нам. Да еще насчет подводы — сестру бы мне отвезть на станцию.

— Возьмите, возьмите, пожалуйста.

Больше этого у ней язык не поворотился сказать Федору. Но вопреки своим прежним мнениям она готова была умиляться перед Федором за его отказ от земли, а следовательно — и от женитьбы на Лизе. «Господи, какой героизм и какая сила характера!» — думала она.

Афимья пришла к ней проститься.

— Вы бы погостили у нас, голубушка! — сказала ей Марья Павловна.

— Рада бы радостью, сударыня, да старичков-то своих спешу утешить. А там еще капусту надо рубить, под яровое метать.

— Что, упросили Федора?

— Слава тебе, господи, — понизив голос, сказала Афимья, и ее лицо просветлело от радостной улыбки. — Склонила его, умилоствовала... Вы уж, радельница моя, землею-то его не смущайте. Авось как-нибудь, авось господь милостив, пронесет мимо нас... Только бы

нам поскорее домой-то залучить его, сокола нашего ясного, а уж мы найдем невесту, подыщем, — есть на примете... Он-то ее не знает, а уж такая разумница, такая работница... Только ради Христа-создателя землей-то его не смущайте!

Хотела было сказать ей Марья Павловна, как же теперь быть с Иваном Петровым, но вспомнила все подробности сватовства, как Сергей Петрович взял на свою ответственность слишком многое, и промолчала. «Поделом, — подумала она, — пусть выпутывается как знает!» — и, расцеловавшись, простилась с Афимьей.

# IX

Возвращаясь со станции к себе на хутор, Сергей Петрович узнал от кучера, что приезжала сестра Федора и что Федор отказался от женитьбы на Лизутке. Сергей Петрович ужасно был рассержен этим. С пристани он возвращался очень недовольный состоянием цен на пшеницу и прижимками купцов; новость о Федоре подлила масла. Еще не успев повидаться с Марьей Павловной, он закричал ей:

— Каковы твои перлы!.. Ведь я говорил тебе... Хлопочи после этого за них, старайся!.. Достаточен был приезд какой-то глупой бабы, чтобы все пошло к черту. Я тебе тысячу раз говорил, что это скоты и скоты!

Марью Павловну неприятно поразили эти слова и особенно тон, которым они были сказаны. То, что она думала в последние дни о Федоре и об его сестре, так решительно расходилось с этим тоном и словами Сергея Петровича, что у ней не нашлось даже слов пояснить свои думы и рассказать о них Сергею Петровичу. Вместо этого она, в свою очередь,

рассердилась и вскрикнула:

— Можешь утешиться: то же самое говорит и моя горничная!

— То есть ты приравливаешь меня к твоей горничной?

— Я сказала, что хотела сказать.

— Очень польщен. Но тогда не нужно бы менять настоящего человека на человека с мнениями горничной.

— Послушайте, Сергей Петрович, — изменившимся голосом сказала Марья Павловна, — не рано ли вы начали упрекать меня в легкости поведения? — сказала и, не замечая отсутствия логической связи в своих словах, ушла в свою комнату, крепко хлопнув дверью.

— Как в легкости поведения? — вскрикнул ошеломленный Сергей Петрович, бросаясь за нею; но было уже поздно: дверь затворилась.

Тогда он прошел в свой кабинет, машинально выложил из карманов и запер в бюро бумаги и деньги и, не зная, что делать теперь, так и опустился на стул в дорожном пальто и в сумке через плечо. Он никак не мог объяснить себе, из-за чего произошла между ними

эта первая ссора. Давно ли Марья Павловна одинаково с ним смотрела на отношения Федора к Лизе и одинаково с ним негодовала на «косность» и «неразвитие» Федора, на его рабское подчинение «глупейшим традициям»? Действительно, Сергей Петрович, употребив слово «скоты», пересолил, но должна же она была понять, что это сказано в раздражении. «Да и действительно скоты! — повторил он громко, внезапно вспомнив, что поставлен отказом Федора в глупейшее положение. — Не угодно ли теперь объясняться с этим неотесанным Иваном Петровым!» Но, потративши несколько минут на негодование, Сергей Петрович опять возвратился к тому, что его по преимуществу огорчало. И мало-помалу он убедился, что был виноват: ему ли говорить так о крестьянах (скоты), когда он прежде возвышал их в глазах Марьи Павловны? Положим, штука, которую выкинул Федор, способна всякого взбесить: положим, это вышло черт знает как скверно, — и сватовство, и вообще вся эта глупая филантропия... Но все-таки при Марье Павловне не следовало так грубо обнаруживать свой, хотя бы и



справедливый, гнев. Он встал и пошел к дверям ее комнаты и прежде, чем постучаться, постоял в нерешительности. И очень обрадовался, когда в ответ на стук слабый голос Марьи Павловны произнес:

— Это ты, Serge? Пожалуйста, иди.

Он ее застал со следами слез на глазах и в полном сознании своей виновности. Правда, она все еще обвиняла его за «скотов» («И как это ты мог, Serge, как мог?»), но в остальном винила себя. Они примирились, растроганные и умиленные этим обоюдным желанием примирения и быстрым сознанием своей вины друг перед другом. И тогда Марья Павловна рассказала ему об Афимье и о том, что говорила ей Афимья о своей жизни.

— Знаешь, Serge, я первый раз в жизни встретила с таким истинно нечеловеческим горем!.. Вот уж «сплошная истома и воплощенный испуг». Господи, если бы ты видел это страдальческое лицо. И точно, все, что мы тобой делали, все эти наши планы... такая чепуха, такая чепуха!

Опасаясь возразить что-нибудь, Сергей Петрович все-таки не удержался и пожал пле-

чами.

— Чепуха, мой милый! — повторила Марья Павловна.

— Но даровая земля... чернозем? — пробормотал он.

— Ах, ты пойми, пойми, что это невозможно... О, тут нужно разрешение гораздо глубже. — И в несвязных словах, путаясь и увлекаясь, она старалась посвятить Сергея Петровича в ясный для нее нравственный мир Федорова отца и в основательные опасения Афи́мьи.

— Как же теперь быть с Иваном Петровичем?

— Я уж не знаю. Но согласись, Serge, что ты сам виноват. Ты положительно погорячился тогда. Зачем было идти так далеко?

— Ты, однако, радовалась, что я пошел так далеко.

— Да, да, и я ошибалась... Но я вижу, что я ничего, ничего не знаю. Я решительно путаюсь в этих сложных вещах... Все, все не так! Мы совершенно скомпрометированы этой историей!

Сергей Петрович вздохнул и взъерошил

ВОЛОСЫ.

— Н-да, — сказал он сквозь зубы, — дела!

— Но как же ты-то, Serge? Ведь ты так знаешь деревню — и вот попал впросак!

— Да, скажи на милость, как не попасть впросак с этою непроходимую дикостью понятий? — воскликнул Сергей Петрович, но тотчас же спохватился и мягко добавил: — И, конечно, я несколько погорячился.

— Это все-таки такой героизм, такой... — задумчиво проговорила Марья Павловна.

Однако делать было нечего: оставалось придумывать, как выйти из ложного и смешного положения. И они долго говорили об этом и остановились еще на одной «комбинации», которую придумал Сергей Петрович. Его самого недостаточно удовлетворяла такая «комбинация»; Марья Павловна плохо верила в ее успех, но делать больше было нечего. Затем Сергей Петрович мрачно обошел усадьбу, придрался к конюху Никодиму за невычищенную сбрую и вволю разругал его, назвавши несколько раз «скотом», «ослом» и «лентяем»; брезгливо осмотрел постройки, не обратив никакого внимания на поклон Федора и

других плотников. На другой день он велел запрячь лошадь в дрожки и, взяв с собой Никодима, отправился к Ивану Петрову.

В семье Лизутки давно уже знали, что приезжала Афимья и что Федор решил не жениться. И мало того, что знали в семье Лизутки и вообще в Лутошках, дошел этот слух и в Лосково до Степана Арефьева. И старик не стал медлить: переговорив с сыном, который на ту пору уже воротился из Самары, он поехал к куму. Кума он застал мрачным и смущенным, Митревна была с заплаканными глазами. Лизутка только вскользь показала ему и скрылась в клеть. Степан Арефьев с веселым смешком поздоровался с хозяевами, не подал им и вида, что знает что-нибудь, и первым словом сказал, что едет на мельницу и вот заехал по дороге. После таких слов Митревна сразу оживилась и суетливо принялась колоть лучину, чтоб угостить кума яичницей. Ивановы брови слегка раздвинулись. Лизутка же, мгновенно поняв, зачем приехал Степан Арефьев, забилась на сундук в углу клетки и горько плакала. И все-таки за всеми слезами, которые она проливала, за всем несомнен-

ным горем, которое она испытывала, ее утешал приезд Степана Арефьева, потому что она видела теперь, что «люди не совсем осудили ее», что она «не брошенная, не осрамленная», как думала, когда к ней пришло известие об отказе Федора; ей ведь «было стыдно в люди показаться, людям в глаза глядеть»; она не выходила за ворота, виделась только с Дашкой, да и то поздним вечером, выскакивала из избы каждый раз, когда входил туда кто-нибудь из соседей. Теперь она знала, что все это изменится, горько жалела Федора, жалела себя, но все-таки ей было легче, чем все эти дни. За полуштофом, который незаметно вынул из своего объемистого кармана Степан Арефьев, и за подоспевшей к тому времени яичницей разговор скоро принял значительный характер. Притворяясь, что будто ничего не знает о сватовстве Федора, Степан Арефьев присловьями, намеками и поговорками («У нас купец — у вас товар», — и тому подобное) ясно объяснил, в чем дело. Тогда Иван Петров сказал:

— Мы девку не неволим. Нужды большой нет, а коли ей Михаила по нраву, мы соглас-

ны. Знамо, как хочешь, кум; ты, может, что и слышал... Только я прямо скажу: мы девкой не тяготимся, работница она, сам знаешь, какая. В девках не засидится.

— О господи! Да я разве что говорю?.. Кума, разве я что сказал? — заторопился Степан. — Я только так рассуждаю: как исстари мы с вами водимся, так чтоб было и впредь. Я ведь знаешь, какой человек, — я напрямки: девка нам больно по нраву. За тем и гонимся, что по нраву. Известно, неволить нельзя... нельзя, об этом что толковать, а все-таки скажу: парня никто не похаит. Работник ли, умен ли, послушен ли, — сами знаете. Хотя же он мне и сын, а я скажу: дай бог всякому такого сына.

С тревогой пошла Митревна в клеть говорить с Лизуткой. Долго там были слышны и глубокие вздохи, и плач, и шепот. Наконец мужики, оставшись в избе, с удовольствием услышали, как Лизутка заголосила: «Ох, не продавай, родимый батюшка, мою буйную головушку!..» Это был знак того, что девка согласилась. Пришла Митревна со слезами на глазах, но вся сияющая радостью, улыбкой.

— Молиться богу, кума? — весело закричал

Степан.

— Да уж, видно, суженого конем не объедешь.

— Ну, значит, по рукам, а в воскресенье и стовор сыграем. Эка мы к праздничку-то подогнали. Дай, господи, в добрый час!

— Благослови, господи, — сказал Иван Петров, широко крестясь на икону.

Митревна молилась и всхлипывала.

И в это-то самое время Иван Петров, покосив глазом на окно, увидел подъезжающего на дрожках Сергея Петровича.

Сергей Петрович бросил вожжи сидящему сзади Никодиму и с напускною решительностью вошел в избу. Однако, увидав Степана Арефьева, насмешливо прищурившего свои глазки, он так и зарделся от смущения.

— Я к тебе, Иван, по делу, — сказал он, усиливаясь преодолеть смущение, — я бы желал переговорить с тобой один на один.

— Садись, гостем будешь, — сухо и не подымаясь с места, сказал Иван Петров, — а что касающе делов — у нас с тобой кабыть никаких нету.

— Нет, у меня есть очень важное дело, —

сядясь на кончик скамейки и снова вскакивая, выговорил Сергей Петрович, — но я просил бы тебя одного.

— Чтой-то, барин, вавилоны разводишь? — с недоумением заметила Митревна. — Коли дело, так говори, а за бездельем пришел — нечего и время тянуть напрасно.

— Эх, кума! — вмешался Степан Арефьев. — Как его отличишь... дело-то от безделья? По-мужицкому-то выходит — он плевка хорошего не стоит, а барин разберет, глядишь, и за дело ему покажется. Народ ведь тонкий!

— Ты, кажется, вздумал мне дерзости говорить! — вспыхнув, вскрикнул Сергей Петрович. — Только я тебя, братец, и знать-то не хочу! Как ты смеешь со мной так обращаться?

— Ну, это ты оставь, барин, — подымаясь, сказал Иван Петров. — Коли говорить, так говори, а над кумом тебе поношаться не приходится.

— Пусть его, кум Иван! — добродушнейшим голосом проговорил Арефьев. — Ино ведь и пужало на огороде страшно... Издали страшно, а поглядишь вблизи — та же рваная



шуба. Пущай его!

— Ты, Иван, позволяешь оскорблять меня в своем доме, — дрожащим от негодования и стыда голосом сказал Сергей Петрович. — Но это все равно, я не намерен обращать внимания на этого грубияна. Я тебе делаю последнее предложение. Ты, вероятно, слышал, что Федор не может жениться на твоей дочери...

— Не нуждаемся, не нуждаемся... Расшиби тебя родимец с твоим сватовством! — вдруг неистовым голосом закричала Митревна, бросаясь с искаженным от злобы лицом к Сергею Петровичу.

Степан Арефьев удержал ее.

— Но если ты согласишься выдать Лизу без всяких условий, то есть отдать ее в Нижегородскую губернию, я тебе, тебе лично дарю землю, — торопливо закончил Сергей Петрович.

— Эй, кум, рой к тебе прилетел — огребай! — закричал Арефьев.

И вдруг Сергей Петрович, к своему неопи- санному ужасу, почувствовал, что твердая рука Ивана просунулась под его руку и что он, Сергей Петрович, направляется этою твердою,

как шест, рукой прямехонько к двери. Всякое сознание в нем потухло; пропали куда-то и бешенство и стыд. Он видел в странной близости от себя корявые пальцы Ивана, охватившие его около локтя; видел рукав рубахи из грубого холста и даже дегтярное пятно на рукаве; слышал, как вслед ему говорил кто-то: «Ступай-ка, барин, по добру по здорову, — в чужие дела не вламывайся!» — но понимать все это он решительно не мог. Только очутившись на улице, он несколько пришел в себя и прежде всего с испугом осмотрелся; к счастью, улица была пуста; Никодим за несколько дворов от Сергея Петровича проезжал не стоявшую на месте лошадь.

— Никодимка! — заревел Сергей Петрович и, усевшись на дрожки, изо всей мочи передернул удилами лошадь.

Лошадь помчалась. В несколько минут долетели они до хутора, и когда остановились у подъезда, изо рта лошади вместе с пеною падала кровь и она тяжело носила боками. Сергей Петрович бросил Никодиму вожжи, не оглядываясь на него, взбежал на крыльцо и в передней столкнулся с горничной.

— Черт, черт! — закричал он в неопи-  
санной ярости. — Суетесь все, мерзавцы!.. Что?..  
Молчать! Вон!

Марья Павловна выбежала к нему на-  
встречу.

— Serge! Serge! — вскрикнула она, с испу-  
гом всматриваясь в его исступленное лицо.

— Молчать! — не помня себя, крикнул на  
нее Сергей Петрович. — Филантропы! — и бе-  
гом бросился в свой кабинет.

Марья Павловна побежала за ним, видела,  
как он упал на диван, побежала что есть силы  
назад за водой, и когда возвратилась, Сергей  
Петрович, вздрагивая ногами и невнятно мы-  
ча, катался по широкому дивану. Припадок  
необыкновенной ярости скоро прошел, одна-  
ко несколько спустя Сергей Петрович уже го-  
ворил расслабленным голосом, как его оскор-  
били «эти каналы», как вывели под руки на  
улицу и как он ненавидит их, «этих идиотов,  
подлецов, холопов»...

Марья Павловна печально слушала, не го-  
воря ни слова, и от времени до времени дава-  
ла ему нюхать нашатырный спирт, прикла-  
дывала к его распаленной голове холодные

компрессы.

Слух о том, что Лизутку просватали, дошел до Федора. Он угрюмо и молча пошел в тот день на работу и с преувеличенным усердием строгал, тесал, пилил, не отдыхая. За обедом еда не шла ему в горло. Кухарка Матрена долго и с жалостью смотрела на него, подперев рукою щеку, и наконец не выдержала.

— Чтой-то, парень, посмотрю я, убиваешься? — сказала она. — Аль только и свету в окошке? Девка на девку, что галка на галку — все похожи: не та, так другая. Такую-то господь пошлет!.. Чтой-то на самом деле?

— Знамо, ежели не судьба, вешать головы нечего, — сдержанно заметил Ермил, посту- чав ложкой по краям чашки в знак того, чтоб вылавливали мясо из щей.

— Да ведь обидно, дядя Ермил! — сказал все время молчавший Леонтий, молодой, не женатый еще человек.

— Обидно! — окрысился на него Ермил. — А чего ты, спросить у тебя, смыслишь-то су- против божьей воли? Ему-то, батюшке, не обидно, ты по девке по какой-нибудь кру- шиться будешь? В писанье как сказано? Ка-

кой такой закон дан нашему брату? Сказано: не пригоже быть человеку единому. Как это, по-твоему, понимать: дай я буду по чужой невесте убиваться, али как? Нет, не по чужой невесте, а ищи свою суженую. Женись, да тогда и убивайся сколько хочешь, а по чужим убиваться нечего. Ишь что обдумал: обидно!

Федор молчал, как убитый, и только хмурился. В первое воскресенье, провалявшись до полудня на сеновале, он встал, разыскал Леонтия и сказал ему:

— Пойдем-ка, паря, в кабак: что-то гулять хочется.

По деревне они встретили других парней и пригласили с собою. Деревенские парни вообще жили в ладу с плотниками: Федор часто угощал их и с самого своего появления в Лутошках относился с великою осторожностью к тем девкам, которые «водились» с своими деревенскими парнями. Леонтий вовсе не ходил в Лутошки, — его привлекали девки из другой деревни. Выпивши в кабаке водки, парни добыли гармонию, стали петь и плясать. Федор разошелся; с мрачным и сосредоточенным видом он откалывал трепака, орал

плясовые песни и, засучив рукава рубахи, высоко поднимал четвертную бутылку, разливая водку по стаканчикам. Попойка продолжалась до сумерек. Когда на улице слышались девичьи песни, парни поднялись, чтоб идти туда. Федор не хотел идти.

— Пойдем! Ну, право, пойдем, — убеждали его, — теперь и «улица-то» не успеешь глазом моргнуть — разойдется. У Ивана Петровича стовор ноне; девки-то собрались вот, сыграют маленько, да и туда. Право, пойдем. И-их наделаем делов!

Федор наконец согласился. Шумною гурьбой подошли они к толпе девок. Пьяненький парень кинулся обнимать ближайших. «Ну, черт, куда лезешь?.. Налил морду-то!» — с хохотом закричали девки, встречая его здоровыми шлепками.

— А-а... Лизавета Иванна! — коснеющим языком сказал парень, всматриваясь в лица девок, которые стояли позади толпы, обнявшись под одним шушпаном. Это были Дашка и Лизутка.

— И-и, гуляй, гуляй, Маша, поколь воля наша; когда замуж отдадут, такой воли не да-

дут! — И он, приседая, пошел плясать вокруг них, еле-еле удерживаясь на ногах.

— Делай, Васька!.. — закричал Федор, внезапно оживляясь. — Аль про нас девок не хватит?.. Девка на девку, что галка на галку — все похожи... Разделявай! — И, раздвинув толпу, он сбросил с себя полушубок, схватил гармонию у Леонтия и в одной рубахе пустился плясать. Вмиг из толпы вынырнула Фрося, подперлась в бока и, пошевеливая высокою грудью, подмигивая своими веселыми глазами, поплыла вокруг Федора, приговаривая в лад трепака:

*Любила я тульских,  
Любила калуцких;  
Из Нижнего полюбила,  
Сама себя погубила.*

— Разделявай, Фроська! — кричал раскрасневшийся Федор, отбивая частую «дробь» на притоптанном лугу. — Коли на то пошло, всю ночь прогуляем!

Фрося; кокетливо усмехаясь и помахивая платочком, отвечала ему новой приговоркой:

*Уж вы серые глаза,*

*Режут сердце без ножа...  
Ах, завистливый глаз,  
Не подглядывай ты нас...  
Ох вы, плотнички,  
Бестопорнички!  
Припасайте топоры  
До весенней до поры.  
Вам — избы рубить,  
Нам — плотничков любить.*

Наплясавшись, Федор обнял Фросю и, как будто невзначай, сильно пошатнулся с ней в сторону Дашки с Лизуткой.

— О, чтоб тебя, родимец! — вскричала Дашка, отталкивая Федора.

— Пойдем, Дашенька, пойдем, милая, — дрожащим голосом сказала Лизутка, — здесь, видно, и без нас весело!

И они пошли от толпы.

— Фу, ты, фря какая! — со злостью закричал им Федор вдогонку. — Сзади, подумаешь, барыня!

Вместо ответа Лизутка затянула песню, и Дашка подхватила ее:

*Не дуйте-ка, ветерочки.  
Не шатайте в бору сосну.*



*И так сосне стоять тошно,  
Раззеленой невозможно:  
Со вершины сучки гнутся,  
По сучочкам пташки вьются,  
Они вьются, не привьются.  
У девчонки слезы льются,  
Они бьются, не уймутся...  
Бегут речушки быстрые:  
Не бегите, речки быстры,  
Не волнуйте синя моря,  
Сине море сколыхливо,  
Красна девица слезлива.*

В толпе стояли шум, гам и смех и заводились разноголосые песни. Подвыпившие парни плясали с девками, подтягивали песни, лезли обниматься... Вдруг в конце улицы зазвенели колокольчики, и скоро мимо шумящей молодежи на рысях проехало несколько телег с разряженными мужиками и бабами. «На стговор, на стговор... Арефьевы на стговор едут!» — заговорили в толпе, и многие бегом устремились вслед за телегами.

Федор, Леонтий и сильно захмелевший Васька пошли в гости к Фросе. Там они опять пили водку и пиво, играли песни, плясали; Федор обнимался с Фросей, крепко целовал

ее, поддаваясь шальному взгляду ее странно блестящих глаз и льстивым ласковым речам. Вышли они от нее уже поздно: вторые петухи успели прокричать. Васька как вышел из избы, так и свалился на солому в сенях; Фрося, провожая гостей, пошатывалась и все оставляла Федора. Но плотники все-таки вышли на улицу, держась друг за друга и неуверенно ступая ногами.

— Эге! — сказал Леонтий, останавливаясь среди улицы. — Сговор-то не разъехался... Ишь, черти, песни орут.

— Друг, — плачущим голосом заговорил Федор, — можешь ты понимать, какой я есть несчастный человек на свете?.. Можешь?

— Могу. Я все могу понимать.

— Ты теперь заслужи: двадцать десятин... а?.. даровой земли... Как ты об этом понимаешь? Вот, говорит, тебе, Федор: владей... И за место того — Мишанька Арефьев...

— Сволочь, одно слово

— Нет, двадцать десятин земли и к чему дело довелось — Мишанька... Друг! Ливоша! Как меня теперь родитель убил... Ах, убил он меня, братец мой!.. Сестра плачет... сиротки...

аль уж доля-то наша быльем поросла?.. Теперь — девка... ты знаешь, девка какая: отдай все — мало! Вот такая девка... Вон песни играют... разла-а-апушку мою выдают... Можешь ты это понимать, братец мой? — И, склонившись на плечо Леонтия, Федор заплакал навзрыд.

Сквозь серый сумрак рассвета в избе Ивана Петрова виднелись огни. На лошадях, стоявших около избы, звякали бляхи, бубенцы, колокольчики: гости собирались уезжать. Песня, невнятно доносившаяся из избы, вдруг вырвалась на улицу, послышался шумный говор, в дверях избы и на улице столпился народ, огонек вынесенной свечи слабо мигал, задуваемый ветром, охмелевшие люди кричали на лошадей, дергали вожжами, колокольчики и бубенцы ясно звенели, девки в сарафанах стояли в кругу и пели:

*Веянули ветры по полю,  
Грянули веслы по морю,  
Топнули кони Михайлины,  
Топнули кони Степаныча...  
— С кем-то мне думушку думать,  
ти,*

*С кем-то мне крепку гадати?"  
Думать думушку с родным ба-  
тюшкой,  
Гадать крепкую с родной матуш-  
кой..."*

*— Эта мне думушка не крепка:  
Думать мне думушку с Михай-  
лою,  
Гадать крепкую с Степанычем, —  
Эта мне думушка крепче всех.*

— Сват! Посошок!.. На дорожку! — слышался голос Ивана. — Гостечки любезные, не обессудьте! Обыгрывай, девки, играй звончее!.. Где невеста-то?.. Лизавета! Пригуль, поднеси нареченному свекру! Сватушка милый, гостечки, откушайте! Почтите веселую беседу!

— Можешь ты это понимать, братец мой? — бормотал Федор, размазывая рукою слезы по лицу.

# Х

С конца октября наступила ненастная погода. Ночи пошли длинные, темные. Деревья почти оголились и во время ветра тоскливо трепетали своими мокрыми, ослизлыми ветвями. Трава в степи пожелтела; поля стали грязные, скучные, утомительно однообразные. Дороги растворились, бесконечные лужи пестрили их своим свинцовым блеском; глубокие колеи, чернозем, превратившийся в хляби, не давали пройти ни конному, ни пешему.

И в таком виде Марья Павловна тоже еще ни разу не знала деревню. С утра подходила она к окну и долго смотрела, как тянулись медлительные серые тучи, сеял мелкий дождик, чернели леса в отдалении. И ей казалось, что плачет деревенская природа. Плакали широкие стекла окон, плакали деревья в саду, роняя непрерывные капли влаги, плакало угрюмое, неприветливое небо.

На хуторе стало гораздо глуше. Плуги и машины прибрали в сараи, хлеб отвезли на пристань и продали, отпустили лишних работни-

ков, плотники уехали на родину. Можно было по целым часам стоять у того окна, в которое виден был обширный двор хутора, и по целым часам на дворе не появлялось ни одного человека; собаки и те прятались в укромные места. В комнатах с самого утра было пасмурно; в четыре часа уже приходилось зажигать лампы.

Господа были принуждены вести исключительно комнатную жизнь. С утра они пили кофе, играли в шахматы; затем завтракали и пили чай; после чая Марья Павловна садилась за рояль, а Сергей Петрович слушал или уходил к себе читать книгу. Так протекало время до обеда. За обедом больше всего говорили о кушаньях. Сергей Петрович каждый раз критиковал кухарку, Марья Павловна заступалась за нее.

— Да помилуй, Marie, — говорил он, — эти кусочки мяса, например: это деревяшки какие-то, а не *boeuf Ю la Stroganoff*!! Да и соус совсем не тот: здесь нужно жгучее, пикантное.

— Ах, боже мой, Serge! Не может же ошибаться Молоховец... Я вчера рассказала Аксины, и решительно сделано все, как в книге.

— Или эта каша: разве такая бывает гурьевская каша? — не унимался Сергей Петрович, накладывая полную тарелку каши, не похожей, по его мнению, на гурьевскую.

После обеда опять пили чай и играли в шахматы. Долгий вечер уходил на чтение, на разговор; позднее призывали Аксинью ("господскую" кухарку в противоположность Матрене, кухарке "людской") и с кухонною книгой в руках заказывали ей обед. Затем Сергей Петрович зевал и говорил, что пора спать. Но прежде, чем отправляться спать, Марья Павловна смотрела на барометр, подходила к окну, прислушивалась, как гудит ветер, шумят деревья, как хлещет дождь в стекла.

Разговоры велись краткие и с большими перерывами. Да и о чем было говорить? Читали они журналы, читали так называемых классиков, но мало говорили по поводу прочитанного.

— Вот это хорошо, — скажет Сергей Петрович.

— Да, действительно прекрасно! — согласится Марья Павловна, и опять безмолвствуют или продолжают чтение.

Раз как-то Марья Павловна предложила читать Маркса.

— Я начала тогда читать по твоему совету, — сказала она, — но решительно не могла; необходимо вместе читать. Так, на первых же порах я натолкнулась на эту Гегелеву триаду... Что такое триада, хотелось бы мне знать?

— Да, да, Маркс — это действительно... — произнес Сергей Петрович. — Это большой мыслитель. Триада... Триада... Ну, знаешь, это вроде трех периодов у Огюста Конта... Знаешь, у Писарева еще есть об этом?

— Фазисы развития? Фетишизм, метафизика, позитивные начала?

— Да, да. То есть не совсем так, но в этом роде. Если хочешь, начнем.

И вместо обычного своего чтения они раскрыли Маркса. Но Марье Павловне так было трудно понимать его, а Сергей Петрович с таким неудовольствием и с такою сбивчивостью объяснял непонятное для нее, что на третий же день они, по молчаливому соглашению, не развернули Маркса, а стали читать *Дачу на Рейне* Ауэрбаха.

Игру на рояли Марья Павловна скоро при-



нуждена была бросить: музыка стала плохо влиять на ее нервы, хотя, впрочем, и без музыки она уже не могла похвалиться спокойным расположением духа. Лето, прошедшее так быстро, ей иногда казалось сном, который не возвратится более, и казалось горьким заблуждением то, что она думала летом: что жизнь ее теперь уж совершенно другая, что вот ей весело, хорошо, приятно и что и сама она стала другая, — бодрая, здоровая, счастливая. Нет, ничего не изменилось. Та же мебель, те же принадлежности комфорта и гигиены, те же удобные щегольские вещи окружают ее... Тот же распорядок дня. Правда, рядом с нею за столом сидит теперь другой мужчина, с другими чертами лица, с другими манерами, с другим тембром голоса, но где начинается *тот* и кончается *этот* — она не знала. Слова, которые говорит ей *этот*, книги, которые он читает, мысли и идеалы, которыми он живет, — все, все одинаковое. "Да ведь было что-то *особенное* в нем? — спрашивала себя Марья Павловна. — Было влекущее к себе, интересное, оживляющее душу?" Иногда ей против воли приходило в голову: хорошо ли она

распорядилась своею жизнью, не ошиблась ли снова, не придется ли ей проклясть тот час, когда она безропотно приняла первый поцелуй Сергея Петровича, тот день, в который познакомилась с ним? Она несколько раз заговаривала о деревне и замолчала лишь тогда, когда Сергей Петрович в упор спросил ее:

— Что же ты хочешь?

Чего она хочет, в самом деле? И она покраснела вместо ответа, вспомнив, как сближалась с Лизой, как попала впросак, желая благодетельствовать Федора, как искала и не находила "несчастных" и как встретила наконец одну "несчастную".

Скучал и Сергей Петрович. Подходило время, когда он обыкновенно уезжал в Москву "освежиться". Но теперь ему почему-то было совестно заговаривать об этом, и он притворялся, что очень доволен уединенною жизнью вдвоем. Соседей было мало, да и те, которые были, редко посещали их. Потому редко посещали, что Марья Павловна слыла "столичною барыней", а Сергей Петрович вместо карт и выпивки предъявлял гостям скучней-

шие для них соображения о политике и о статьях только что полученного журнала. Однако один из таких соседей, завернув как-то на хутор, был приятно удивлен предложением Сергея Петровича сыграть в пикет. Новость разнеслась быстро. В следующий раз приехали уже два соседа, и, чтобы не расстраивать компании, а больше всего, чтобы не увидеть неприятной гримасы на лице Сергея Петровича, Марья Павловна согласилась составить им партию в винт. Затем она нашла, что игра в винт заглушает скуку. И только после множества таких партий в винт ей до глубочайшего омерзения надоели и карты и партнеры.

В конце ноября вместе с дождем повалил снег. Поля оделись серою пеленой. На грязных дорогах появились точно заплаты из белого сукна. Никодим, ездивший на станцию за газетами, воротился мокрый до последней нитки. Зато в газетах оказались интересные новости: в Москве ждали постановки новой оперы и приезда знаменитого трагика на гастроли. Сергей Петрович не утерпел.

— Не съездить ли нам в Москву, Marie? Это, должно быть, очень интересно! — сказал

он, заглядывая ей в глаза.

Она помолчала, посмотрела в окно, где мутная завеса дождя и снега застилала окрестности, подумала о том, что сегодня вечером, несмотря на отвратительную погоду, скучные соседи непременно явятся "повинтить", а за обедом пойдут неперемненные разговоры о кухарке Аксинье или о вчерашнем "шлеме", который открыл Сергей Петрович, и проговорила:

— Хорошо, я согласна.

Дня через два коляска, запряженная тройкою крепких лошадей, медленно тащилась по широкой лутошкинской улице. Снег опять согнало дождем, и грязь, стоявшая на улице, доходила лошадям почти до колен. Из коляски задумчиво смотрела на избы бледная и печальная Марья Павловна. В маленьких оконцах, по мере проезда господ, то и дело щелкали торопливо отодвигаемые рамы и высывались русоволосые головы ребят, с любопытством смотревших на коляску.

— Чего не видал, постреленок! — закричала Митревна на своего сынишку. — Студи избу-то.

— Мамка! Господа поехали... Глянь-ка, ба-рыня-то — бе-е-лая.

— Ну, и неси их нелегкая. Задвинь окошко-то.

Когда свечерело, тот же мальчуган сказал Митревне:

— Мамка, сем я к Булатовым пойду? Там баушка Лукерья больно хорошо сказки сказывает.

— Поди, поди, кормилец, да не засиживайся: отец от старосты воротится, ужинать будем.

Мальчуган проворно подвинул по самые уши старую отцовскую шапку, натянул полушубчик с свежими белыми заплатами и, выскочив на улицу, осторожно пробрался около навозных завалин к избе Булатовых. Слепая "баушка" сидела в углу около печки; вокруг нее было уже много ребят; иные сидели на лавке, иные на корточках на полу, иные лежали на печке и на полатях, подпирая ручонками подбородки, не сводя внимательных глаз с "баушки". Она мерно и важно вела рассказ, устремив свои мутные незрячие глаза в ту сторону, где, казалось ей, были слушатели.

Дальше, к переднему углу, сидели женщины и молча пряли пряжу.

— Баушка, а баушка! — сказали с печки, когда слепая умолкла. — А вот ужи теперь — кусаются ай нет? Алешка по весне убил здо-ро-о-венного! Он говорит: уязвит, коли не убьешь.

— Вот глупый, разве их можно бить? Уж он — вот какой. Когда в потоп Ной плавал на корабле, то черт повертел дыру в корабле. Черт-то повертел, а уж увидел да и говорит: сем-ка я заслону, говорит, а то потонет ко-рабль. Взял да и влез до половины в дыру-то и сидел там, покамест вода ушла в море. Когда уплыла вода-то, бог ему и подарил на голову венец, вот желтенький-то на ём... Вот теперь их и грех бить стало, а то бога прогневишь.

— А Ной, баушка... Какой такой Ной?

— Человек такой был. Бог послал потоп на землю, и случился такой человек.

— А змею, баушка, не грешно убивать?

— Ту не грешно. Та — проклятущая, ее ока-янный любит: кабы не змея, мы бы, может, и теперь в раю жили.

И долго велись такие разговоры между "ба-

ушкой" и ребятами, наперерыв задававшими ей вопросы. Наконец ребята пожелали слушать сказку, и "баушка", на минуту призадумавшись, тем же мерным и значительным голосом, который был ей свойствен, начала рассказывать о Песчаном острове: "В некотором царстве, в некотором государстве были у царя три жены. Первая говорит: я тебе, друг милый, я тебе, друг любезный, сошью рубашечку — скрозь колечко протащить. Другая говорит: а я тебе, друг милый, я тебе, друг любезный, напряду таличку — сквозь игольное ушко протащить. А третья говорит: а я тебе, друг милый, а я тебе, друг любезный, рожу трех сыновей, и у каждого сына буде во лбу по ясну солнцу, в затылке — светел месяц, а по вискам — часты звезды..."

Этим же вечером господа ехали по железной дороге. Сергей Петрович дремал, убаюканный теплотою вагона и однообразным стуком поезда. Марья Павловна протираала вспотевшие стекла и напряженно смотрела в темное пространство, — смотрела, как в темноте нескончаемую вереницей летели огненные искры, напоминая собою полет пчел; как

мерцали огоньки деревень, изредка попадавших на пути; как отражались светлые полосы от окон вагонов и стремительно бежали вслед за поездом, — смотрела и думала все о том же, о чем ей в последнее время часто приходилось думать: "Что же мне делать? Что же мне делать с собою?" И жизнь представлялась ей точно степь, мимо которой мчался поезд: такая же обнаженная, глухая и мрачная.



# Примечания

Тексты печатаются по изданию: Эртель А. И. Собр. соч., т. I–VII. М., Моск. книг-во, 1909

## *"Две пары"*

Повесть была написана А. И. Эртелем в Твери, когда он жил в ней на положении ссыльного. Тематически она примыкает к "Волхонской барышне", развивая один из ведущих мотивов творчества Эртеля интеллигенция и народ. Героиня повести "Две пары", Марья Павловна Летятина, похожа на Варвару Волховскую не характером, а стремлением сблизиться с народом и как-то облегчить его участь.

Сюжет повести "Две пары" построен не только на сопоставлении, но и на противопоставлении взглядов на брак и семью в дворянской и народной среде.

Повесть "Две пары" впервые опубликована в журнале "Русская мысль" в 1887 году.